

ДОМ

Апокрилог

За закрытыми
глазами...

DOM

**Апокрилог. За
закрытымі глазами...**

«Издательские решения»

DOM

Апокрилог. За закрытыми глазами... / DOM — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903842-5

Название состоит из двух слов: «апокриф» и «монолог», что в равной степени может переходить как в «диалог», так и в «полилог». Вовсе не наделено религиозной «крепостью». Книга подойдет для людей, понимающих аллюзии и аллегории, — а, соответственно, для людей с воображением. Итак, действие разворачивается в космическом клубе «Ясемь-ля»...

ISBN 978-5-44-903842-5

© DOM

© Издательские решения

Содержание

АПОКРИЛОГ	6
Пролог	7
Планета Вызрелость	9
Планета Рутинезия	27
Планета Разнудобия	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Апокрилог За закрытыми глазами...

DOM

© DOM, 2018

ISBN 978-5-4490-3842-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

АПОКРИЛОГ

Закат и рассвет в одном повествовании – а чему будет положен «конец», и чему наступит «начало» – каждый из вас определит для себя сам.

Что мы знаем о толпе: о мандарине раздора, эгоизма, риска, негативизма и т. д.? Толпа всегда ищет виновников – белых ворон, но никак не хочет искать выход содружно. Если говорить о душе — внимательной, чистой и благодарной, — не загнанной душе – то она находится в непрестанном поиске выхода/освобождения. В её силах справиться с кармой; физическая слепота для неё едва ли ощутима, которая всё же затормаживает поиски света. Толпа же – как лебедь рак и щука – рвёт её в разные стороны; душит и губит. Её уделом всегда оставалось быть гадким утёнком среди разношёрстного сброда.

В толпе не стоит искать единства, – не все хотят пить коктейли из канала-источника и качиваться в гамаке у берегов Рая. Они перестали слышать внутреннюю колыбельную отца и матери, безбрежно сливающуюся в унисон.

Толпа – таково название гоминидов, прислушивающихся не собственными ушами, а *большинством*. Так будет, покуда не восторжествует справедливость и после неизбежного переполоха не останется хотя бы один или несколько гоминидов, не принимавших в этом участия, которые и отыщут выход, – *один для всех* – шансы уравниваются.

Пролог

В темноте, тишине, неизвестности и необитаемости, существовало 8 микроскопических точек, появившихся из ниоткуда (в чём, всё же, нет никакой уверенности). Все они кружили вокруг одной большой огненной планеты; притягивались все ближе её магнитным полем, сильнее сгущаясь между собой. Красная планета словно благословляла их светом, который питал их жизнью. Эти крошки-атомы – сама невинность – точно пасхальные яйца под прикрытием курицы, согревающей их теплом в ожидании, когда же те вылупятся. Но пока, на протяжении множества световых лет, ничего не происходило. Словно впадшие в анабиоз, спали они во тьме беспробудным сном...

И вот, в один из дней, задрезжали они в пляске, словно улыбки пчёл; казалось, пробудился и загудел сам Небесный дом и давай лихача, да такого зажигательного: отовсюду сыпались и разбивались градом кометы, болиды, астероиды и фейерверки звёзд. Что же, – в недоумении скажете вы, – должно было произойти, чтобы всё, зараз, ожило? Каким образом эти невидимые глазу точки, смогли привести в ритм механизм сущего?

Разберёмся, прежде всего, – и это «разберёмся» будет вас окликать на протяжении всего повествования, – что является жизнью для тех, кто спешит её прожить «качественнее»; с оглядкой, да, в принципе, с круговым обзором, и круговыми запрограммированными глазами, только и выискивающими, где же притаилась смерть. Выпадает из виду одна деталь: спешка уже исключает качество.

А ну-ка, кто из вас ни разу не играл в прятки? Детская забава, казалось бы, ан и взрослые не чураются этих незатейливых игр, потому как в каждом из них заложено знание, и подобно детскому любопытству, они всегда будут в его поиске, – по сути, в сведении начала с концом, добра со злом; и так покуда не поймут, что ни того ни другого нет – есть только сплошное и единое.

Известный страх гоминидов заключён в том, что они боятся подняться выше на одну ступеньку, встать на порог обеими ногами, и, отдышавшись, его перешагнуть. Ясно, что земля здесь выступает в качестве образного «порога». Рождение – это ступени ниже порога и по мере становления/взросления, они могут подниматься только вверх, просто потому что ступени до рождения позабыты и отгорожены стеной начала нового; они, соответственно, ведут к смерти, хотя снизу могут показаться бесконечными, стремясь в белый свет. В заблуждение, пожалуй, может ввести одно: а что их встретит там, наверху? В то же время внутреннее и бессознательное чувство, заложённое в каждом, – тот самый жмурик, который прячется от них с детства, – говорит о безграничных возможностях Абсолюта и его проявлений. «А может там тупик?» – и это вас волнует не меньше «безграничности непознанного». И вы не рискуете, даже не пытаетесь, просто потому что страх перед неизвестным пугает и пугал всегда. И так вы до сих пор топчетесь на середине, не определившись с направлением – как глупцы, которые боятся зайти в свой дом спустя несколько лет странствий, опасаясь, как бы там чего за это время не изменилось.

Напридумывали кучи отговорок, поверий, легенд, поговорок и историй, более чем несуразных; передвигаетесь прижизненно смертными кощесами надгробий по бесконечной иллюзии, вместо того, чтобы самим пойти да разведать, куда же все-таки ведут ступени, – ведь терять-то, на самом деле, нечего! Полоумные вы мои фантазёры! Единственно доступный аналог «вернуться»/«выйти в рождение» – это переступить за иллюзию смерти. Вверх, только вверх, без оглядки! — и это вовсе не означает тут же, стремглав, бежать и выкупать главный хлеб Ватару Цуруми, — нет! — я постулирую о принятии смерти, как чего-то само собой... Пришло время избавиться от все той же иллюзии страха перед смертью,

так как ваша иллюзия жизни создана благодаря страху перед иллюзией смерти! Разглядели circulus vitiosus/порочный круг?

Весь народец под скорлупой одного яйца. Каста обязательств и условностей будет чтить свои традиции до тех пор, пока планета не вылупится из-под гнёта.

И вот этот день настал, – и этот день – будущее!

Планета Вызрелость

Ну что же... Раз, два, три, четыре; дробь, корень из трёх. Планета овеяна дымом от кофе, который прогуливается по улицам, в редкие свободные перерывы, покуривая сонм сигарет. Серый день ходит под покровом чёрной ночи, точно серая масса, обёрнутая мусорным пакетом. Эти недогомункулы спешат, а на их каменных лицах выбиты посмертные маски пренебрежения и бескомпромиссности. На их стороне заводы, компании, корпорации и передовые технологии. В своих новейших налощённых высотных мегаполисах «наоборот», – которые только *внешне* растут ввысь, а на самом деле впиваются иглой в хтоническую *глубь*, – они хотят дорыться до света. Так сказать – «мир наизнанку», совершенно неоправданный мир, потому как света ему не видать вовек.

Всякие расчеты пригодны только в пределах их беспросветности, как и точные науки – относительное творчество воображения. Им ни на йоту невдомек о свойствах материи, в которой затонул их перегнивший кофейный жмых планеты; *той* материи, которая до недавнего времени была главным источником жизни и энергии, породившей всё сущее. Все, что выходит и испаряется в дыму *их* шарика — апокалипсичная и беспробудная неизвестность. Все они, как стадо муравьев, копошащихся в муравейнике, для которых пробуждение от бредящего анабиоза точно грозит расправой. *Скажите* мне, разве возможно, чтобы у вечно молодой Бесконечности было регламентированное ограничение времени сутками или мерными шагами минут? Оно стоит, потому и называется «*Бесконечностью*». Время создано вами. Напишите на доске мелом и сотрите — *вот* что это! Пускай в системе произойдет сбой и все пропадет, потеряется, растворится во тьме без остатка, – ох, какой тогда зазвучит гомон и паника! Все умирают и рождаются вновь; придумывают себе мириады событий, мегаполисы планов, ежедневники воспоминаний... Суета и бессмысленность! Оглядитесь вокруг, разомкните веки – *где* вы? Красота неба служит покрывалом для закрытых и упрямых глаз, – какое унижительное занятие! Прикрывает то, что для вас всего лишь шутка, черный юмор; то, что внушает и распространяет панику. Ваша атмосфера служит покрывалом прикрытия и для *меня*, чтобы не видеть всю вашу абракадабру...

Их вера закопана в аркосолиях атавистических мегаполисов, в которых догнивает плоть. Я за покрывалом — и это неизменно. Я – созерцающий старик и кукловод театра всякой выдумки. «Я» предоставляет им возможность делать *то*, во что они упираются верой. «Я» – посыльный гомункуловых снов, – они в его ладони. Я всегда беспристрастно наблюдал за миллиардами смертей, – любое угасание и стрелка на циферблате медленно сползает в обратную сторону, – только никогда их не пересчитывал, как не имеет смысла считать блох на голове и в голове. Спокойствие и неподвижность сфер материи, как океан для утопающего Ноева Ковчега: разве объединились бы они, не будь катастрофического наводнения милостивых вод?

Они все *внутри* меня и я с этим смирился.

Кварталы, улицы, магистрали, пассажи, магазины, – любой ребенок давно бы потерялся, не отходя от матери, потому как схема мозга ребенка изначально очень *ясна* и *проста*, – но только не *этих* детей — взрослых в миниатюрном формате! Этих бедняг школят с пеленок; в буквальном смысле: вся школьная программа шагает впереди их ползунков. А как только пробьет шестилетний рубеж, им выдают паспорт гражданина Вызрелости, после чего те незамедлительно идут устраиваться на работу, которой его обеспечивают заботливые и оттого не менее расчетливые родители. Детскую мечту выкорчевывают с каждым новым вырванным зубом, сочетая «становление» личности бедолаги порциями разоблачений: то обещанная зубная фея не приходит; то с каждым «Прежним Годом», – по-вашему – Новым годом (хотя понятия идентичны, по сути), – рассекречивают подставного Деда Мороза, у которого за спиной игрушки с ценниками и борода на резинках. С каждым годом вера в сказочную криптограмму

магических знаков убивается, так что к шести годам «взрослый гражданин» знает весь кодекс своих обязанностей перед родиной и своими мудрыми родителями, которым будет обязан «по гробу» в мегаполисе. К тому времени от него будет исходить запах никотина и кофейного перегара, разлагающего плоть. Как и взрослые *взрослые*, взрослые *дети* примеряют каменную маску неверия и безразличия, – в будущем — пренебрежения и бескомпромиссности. Весёлые и дружные игры словно стерты из памяти, — новые технологии! – залог роста и обнуления кальция в костях, в целях излечения от вредной привычки гулять, дабы больше посвящать себя работе. Все жители этой планеты – или планиды – скованы наручниками часов, с автоматически активизирующимся будильником – у всех по общему расписанию. В суровых краях этой планиды растительности не бывает — нэгде, – все закатано раскаленным битумом; перечерчено дорогами, мостами и автострадами; и никаких вам эспланад, общественно развлекательных центров и просто свободного места — сплошные приливы и отливы табунов ног с чемоданищами в руках. Избыточная жара и токсичные зловония раскаленного перегноя кофеина и никотина распределяются и разбавляются точно через вытяжку (пбру атмосферы) – в космос.

Обычный распорядок дня этих гомункулов таков: поспали, подышали гарью и давай на работу, – и всё заново и заново... «Здравствуйте, мама, здравствуйте, отец!» — здороваются вежливый миниатюрный взрослый. «Мне кажется, нужно пригубить по рюмочке кофе, не так ли?» И открывает окно, чтобы освежить уличный смрад.

За окном, по магистрали, машины длинными гусеницами ползут в непролазной толчее; некоторые прямо на ходу выпрыгивают из транспорта, оставляя запрограммированные машины добираться самостоятельно. На утренней «пробежке» обычно перемещаются на своих мини-автомобилях жуках, заметно сплюснутых от бампера до багажника, чтобы максимально сократить заданное расстояние. Сама же работа течет как рафинированное масло горячего отжима, которое на протяжении дня успевает раскалиться до небывалых температур, – отсюда и разносится пожароопасная атмосфера в город. Работают все слаженно — как по чьей-то инструкции; все действия исполняются с быстротой кофейной сонности привычки. Здесь, как ни странно, ни на одном предприятии, корпорации и т. д., совершенно нет начальства. Каждый – в одно и то же время — начальник и исполнитель, – ответственность колоссальная! Здесь всем заводит *время* – наручники часов.

Однако почти все тайком верят в существование *высших* инстанций, которые, предположительно, и завели счет времени. Но это поверье остается необсуждаемым табу. Считается дурным тоном публично полемизировать догадками о силах, сотворивших всё вокруг. А также запрещена всяческая фантастическая/беллетристическая ересь, заканчивающаяся общенародной паникой, да такой, что впоследствии большинство консолидирует свои пристанища, страшась выходить их дома. Гомункулы ужасно боятся узнать правду о своих властителях; боятся, что это может пошатнуть слаженность и стабильность их деятельности, – и тогда все потеряно! Наступил бы кризис во всех областях, а к такому эти крохи-муравьи явно не подготовлены, – раздавит, и с концами.

В этом есть нечто пасторальное: овцы, пасущиеся на лугу, под надзором бесплотного пастуха, стремящегося согнать их плетью в стадо, чему те никак не внимут, а только блеют, припускаясь врассыпную: «что *происходит?*» и «почему нам *больно?*»; сплочаются вместе, лишь чтобы защититься от страха, насылаемого на них пастухом. А тот всего-то гонит своих овец в загон, так как дело идет к *грозе*. *Те* же следуют в ту сторону, где их меньше всего бьют.

Так и наши гомункулы: идут туда и делают то, что не понесет за собой негативных последствий. Но с таким же успехом они могут не отследить изменения в погоде и атмосфере, которые могут выдаться гораздо губительнее всех прочих «последствий» вместе взятых. Допустим, заработаются, и, запамятавав о проветривании помещения, задохнуться и/или сгорят от перегрева. Их явно пугает этот невидимый тиран, которого они создали *сами* – страхом перед неизвестным. Теперь для них всё неизвестное персонализируется в стереотип: плеть и боль, а там

и смерть рядом. Но в тайне, все они грезят мечтами о счастливом детстве, – *каким бы оно могло быть?*

На лугу резвятся и танцуют под дождем *настоящие* дети; а взрослые – эти овцы, всё боятся отхватить невидимой плетью, и, отгоняемые, они все смотрят на них – весело играющих под солнечно-радужными брызгами фруктовой сладости. Детки в сладкой цветной помадке и в сплетающей волосы, жидкой карамели. Они тянутся широкими безмятежным улыбками к небу; к брызгам сладкой газировки с небес — как только что встретившие свет кротята, поблескивающие лучистой шкуркой. Эти *овцы*, — будем их в подходящий момент так называть, – скорее подведомые *извращенцы*, для которых желание властителя — закон и одновременно — разящее наказание. При всем при этом они находятся в *наибольшей* близости с призраками детей, – т.е. с собой из вычеркнутого детства, которых прижизненно лишили жизни. И остается неясным вопрос: *наказал* ли их заботливый пастух, которого они записали в «неизвестного» злодея, либо же они *сами* себе являются виной и наказывать следует только себя? Впрочем, с какой стороны не подходи, причина кроется в *страхе*, чистого вида *страхе*. Решающей остается одна деталь: от чего этот страх отталкивался? *Контрапункт всех страхов, сложенных вместе, всегда можно заключить в некую каденцию завершенности, – т.е. источник всех страхов, или, в частности, исчисляемого; корень дерева; корень всех начал витального плана – земля под ногами и небо над головой; вибрационный кокон, имеющий непосредственное отношение к вам и в вас.*

Они тайно ищут «корень», который потерял за закрытыми глазами, даже не догадываясь, что и так находится в нем. Ответ всегда находится перед носом, если есть общий знаменатель, общая платформа, однако страх узнать правду, пренебрегши ходом стрелок на циферблате, то и дело застилает им глаза. Страх, приходящий из неизвестности; заморский негоциант с ящиками вирусов и заморской заразы вместо товара. Страховые опухоли возникают от абдрагана перед смертью, и чем стремительнее растет эта опухоль, тем скорее наступает угасание. А вот если представить пасторальную картину, уже *завершенную* художником – с дорисованными местами: вместо серого полотна туч — голубое небо над зеленым лугом, а среди овец — абсолютно осязаемый пастух, — тут уж вряд ли подумаешь на происки высших сил.

Так вот... гуляет по городу корень духа тайного желания всех гомункулов, фантастически персонализировавшийся в непомерного ребенка; тот, кого он касается, или кто пребудет в нем, мигом меняется на глазах, — словно в овцу из картины вселился дух ребенка. Если кто-то торопится — а здесь такие все, — то с прикосновением вмиг останавливается и начинает залипать в небо, как это делали дети на лугу; а затем, придя в себя, оглядывается, и глаза его начинают медленно расширяться, прозревая как яблоко Адама и Евы. Слышится дикий хохот, переходящий в истерический – до боли жалобный – и следом раздаются чередующиеся шлепки ласт ног о дорогу: это заключительная пляска селедки а-ля падебаск, с мягкими приклонами. Уже вскоре «стукнутый» горланит свое имя, которое *только сейчас* вспомнил, а заодно и все свое вычеркнутое детство, – судя по настроению – явно приукрашенное. Таких обычно сразу подбирают санитарные машины с мигалкой – караулящие дорогу сутками – и увозят их в места «выведенных из строя». Такой участи устаиваются и те, кто в тайне желал больше остальных избавиться от страха.

В том случае, если дух ребенка прополз не на четвереньках, а прошел на двух, житель довольно быстро приходит в себя, еще долго оставаясь мысленно парализованным прозрением. Он будет брести по улице, вычищенной до крошки; вновь вольется в толпу, все же оставаясь мысленно далёким; различит только светофор, который ему скажет стоп на несколько минут, низвергающихся в вечность. Разряд! Пульс. «Он дышит?!» «Да, дыхание слышно, но его здесь нет!..» На долю мгновения он показался себе «*своим*» среди чужих. Теперь он очутился в своей квартире, а вокруг все словно померкло; пешеход трансформировался в зыбучий ковер; окружающие будто отгородились от него стеной. Всё постепенно исчезает; и время... Но он стоит, –

отголоски былой сконцентрированности; он *должен* стоять – отклики из другой реальности. Зелёный. Что-то в нем возвращается в реальность, но в целом – это беспросветное жамевю; пробуждение после глубокого сна – пляшущим ритмом многогранности. Глазницы убаюкивают теплым давлением яблоки глаз, ту же натягивая покрывало век, – пришло время спать, но в его уши пробивается отдаленное движение. Мешает. Его подталкивают в спину устремленные и проворные потоки, но он никого не может отследить, – они стали прозрачными благодаря его сверхчувствительности и впечатлительности. Затем всё вновь меркнет и озаряется вспышкой ещё более черной и устрашающей. Ему становится не по себе; мысленно проскальзывает лифт возвращения — дзы-ы-нь! – и тогда он задаётся кровоточающим вопросом: «*Это ли мой мир?*».

А ведь подобных провидцев здесь не сосчитать, только надави на больное место. И именно этот разгуливающий по городу смерти, крепыш, – чей дух воссоздан из страха перед потусторонним, – отлично справляется с этой игрушкой страха, пасуя её, мячом, каждому. Мои дифирамбы, коль найдется бесстрашный, сумеющий отразить его подачу! Если же не удастся, у того просто недостаточно сил к принятию такой правды; того увезут в конвульсиях эпилептического припадка в отдаленные места, где незамедлительно приведут безвозвратно тронувшийся ум в рабочее состояние. Этот серо-сизый, каменный мир гробниц, прикрепленных к горе, – над которым кружат кондоры, клюющие остатки тления не живых и не мертвых окаменелых статуй, – естественный исход – если бы не это тайное стремление к *другой* жизни. Никогда не теряющиеся из виду дорожные разметки, знаки и светофоры в их головах, — «да», «нет», «уточнить»; водительские права с инструкцией по управлению своими механическими движениями и действиями... Что им не грозит, так это перегорание от эмоционального всплеска вдохновения!.. Роботы не испытывают эмоций; выход к «корням» закрыт.

Из подворотней и канализаций источается смрад, но в самой усыпальнице/братской могиле — единый скелет из выбеленных камней. Ребра от позвоночного столба взмываются ввысь ламинарным никотиновым дымом – слегка искореженным, – в котором толкутся черви. В предсмертной агонии руки скелета впиваются в шейные позвонки, силясь их сдавить. Черепная коробка открыта и из неё вываливаются всё ещё горячие перегнившие кофейные зерна. Они проросли в скелет своими длинными субтильными сплетениями корней, завладев нервными окончаниями; спящие почки, разбросанные по ним, оставляют надежду на будущее. Вот только... если до настоящего времени кофейные зерна находились в *черепной* кофеварке – без корней, – что же случится, если дерево заплодоносит? А эти зерна уже успели прорасти в самую суть их мира – в сердце, нервы и страх.

Если до этого только *голова* была пьяна кофейной трезвостью правил, то теперь, может стать, *все* кофейные почки, каждый гомункул в отдельности станет жить по *своим* правилам, – т. е. станет сам себе на уме. В таком случае начнутся разногласия; педантичный и выправленный робот закатит рукава – полетят детали. Но подождите, что же послужит тому *причиной*? Как могут *корни* преобразоваться в *ветви*? Наверное, по принципу сдавленного в руках шарика с водой: куда прибудет, а откуда отбудет. Хотя корней из головы еще не выросло. А может перегнившие кофейные зерна, – как мы изначально их определили, – есть не что иное, как *корни*? *Отсюда* ноги растут? Тогда кроновый склеп этого деревца образуют ветви, вздымающиеся дымом из ребер-высоток. Давайте посмотрим: некорневая система законов создана для защиты от окружающей почвы страха; склеп является защитой от внешнего, который в то же время душит какую бы то ни было жизнь.

Как устроены *гомункулы*? У них – как и у *вас* — есть защитная эпидермальная покрывка, – только наждачнее и плотнее; есть мышцы, приводящие их в движение, и кости, – в нашем случае сделаем уклон на *рёбра*, служащие защитой внутренним органам. Без этих рёбер они сделали бы во много раз – если не совершенно — уязвимыми перед любым толчком либо ударом; к тому же рёбра цепляют на себя мышцы, несущие ответственность за дыха-

ние. Система сложна, что ещё более усложняется вынужденностью пребывания в системе именно *этой* плоти.

Допустим, если остов планеты не делать по их подобию, а переиначить на скелет морской рыбы, то она тотчас бы нашла море и уплыла в глубину; освободилась или растворилась, вообразив себя птицей, бабочкой — да как на душу ляжет: её не видно, и решать ей одной, кто она, где и зачем.

Простота — это залог просто, без прикрас, *глубины*, — *уже* подразумевающей «бездонность»; просто *радости*, уже подразумевающей «искренность»; просто *преданности*, исключаяющей подставные, невнятные и юлящие эпитеты. *Простота!* — это чистота, невинность и искренность. Хватить разыгрывать сцены! — естественность, кроющаяся в простоте, всегда примагничивает любовь, которая звучит в её сути. Всё искусственное — есть маска *иллюзии!* Простота всегда внушительнее и выразительнее звучит в *просто* «глубине», чем в «бездонной глубине», или в «настоящей преданности». У каждого из вас для подставного эпитета найдётся множество толкований, только вот корень истины не требует толкований, он для всех един (точно так же как и исход). Простота не претерпевает рефракций своего подлинного значения, ведь обитает *глубже* всех этих кривозеркальных отражений. Простота — это дно Космоса.

Почему так бывает, что дно *глубокого* моря виднее дна *мелководного* озёра? Потому что глубина лежит на поверхности. Зато *отражающая* способность непобедимо выше именно у мелководного озёра, куда частенько заглядывают посмотреть на себя эпитеты, любясь своей красотой и неповторимостью. Меньше рёбер — глубже дышится; проще система — счастливее жизнь.

Смотрю на них и улыбаюсь. Даже не ожидал, что марионетки смогут обрести самостоятельность и я буду наслаждаться концертом, не принимая в нём непосредственного участия. Ничего не делаю, а их становится всё больше... И вот эти марионетки превращаются передо мной в разноцветную радугу коктейлей: «Бермуды», «Кровавая Мэри», «Империял» и т. д., — явившись наполнителями черепных коробок восьми разных планет. Замаринованные и захмелённые марионетки. Но, позвольте, кто же наполнил эти, достойные похвал, безмозглые бокалы? Именно они. Они пьяны и пресыщены своим бессилием; они пьяны, — как анестезия от боли, которую сами выдумали; пьяны моими снами и знаками, которые я посылаю в каждую отдельную башку символами, способными заставить их отреагировать на меня, — зачастую используя приёмчики с запугиваниями. Только тогда их извилины начинают шевелиться; черепные коробчёлки затворяются; глазницы зашториваются и их поприхнувшие огоньки скрываются в корнях пяток. Начинаются настоящие шаманские танцы; магические ритуалы дёргающихся анатомических скелетов. Тогда же они сцепляются руками между собой, и, задыхаясь, дают панического гогота бессилия. А костёр в этом круге все возгорается и растёт. Вот уже его языки облизывают — нежно обжигая — выбеленные косточки. На кого взгляд ни кинь, кругом один и тот же концерт, — целый *бар* концертов.

Под содроганиями мертвецов, моя старенькая танцплощадка заходила медленными блимканиями и переливами синего, красного и жёлтого. Двери заведения на засов. Огонь обращается в призрачный дымящийся фонтан, который, в свой черёд трансформируется в песочные часы. На подувядшие кости начинает капать, дождём, воск. Теперь они омыты и по ним сползает плотная восковая улитка. Окончательно затвердевший воск останавливает их барахтанье с каменной твёрдостью. Из их черепков выдаётся фитиль, сквозящий через все позвонки. В момент окаменения костра, фитили загораются робким и нерешительным треском. Черепки медленно исчезают, сгорая замертво. Но за короткое мгновение, кости их стоп успевают вьестись корнями в землю. Когда же стопы окончательно догорают, корни пускают ростки, прорастая в дымящийся и бесплотный фантом, теперь пропитанный «неизвестным»; прорастают сквозь шейные позвонки, негибкий и отвердевший позвоночник, вдаваясь в разветвление рёбер.

Круговорот не останавливается, – всему своё время и свои плоды, – а пока я аплодирую стоя! Я доволен своими куклами. Игра актёров искусна! Таков метаморфоз несуществующего мозга, однако, успешно снаряженного атавистической грудой барахла, сбытого с минувших столетий. Как же приятно после такого представления посозерцать нечто отвлечённое и потянуть глинтвейн, грог, пунш... А когда всё поутихнет; когда в отсырелые головы закатятся обратно белки глаз – под прикрытые занавешенных глазниц — я пошлю им сон смиренный... Он должен быть таким, чтобы их пробудить как разрядом дефибриллятора; чтобы из глазниц, объятых беспросветностью, повывлазила дюжина червей, изъевших движение жизни. Пусть, с затайкой дыхания, вылазят и смотрят, мрея своими мелкими испуганными глазёнками из-за слегка пришторенных глазниц. Позади — аспидная беспроглядность. Все они почивают в братском захоронении – под мой ключ. Но я и им оставил один, подумал, что так будет надёжнее, на случай, если забуду, куда дел свой (память не к Аиду), – а заодно и посмотрю, к чему это приведёт.

«По шпалам мчат они туда. Там белый свет, куда зовёт звезда; мосты сожгла и их вперёд пустила... Там смысла — космос есть, а не сплошная братская могила!»

Да, действительно, вы правы, — нехорошо устраивать мёртвым проверок, да плохим словом поминать...

Это *испытание*, которое и определит, достойны ли они такой чести быть свободными от моих глаз; пусть лишь подадут признаки самостоятельного шевеления, и я им помогу – в карман за словом не полезу! – *приоткрою* гробницу. Ну а дотоле, они — движимые червями останки — сливаются в тремор гниения и разложения жизненно важных органов. Какие-то черви предпочитают кровью облитое сердце, какие-то плевральные лёгкие, другие камнесодержащие почки и т. д. Одни кости лежат нетронуты. Прежде будут съедены глаза и сердце. Червяки-сердечники, как и все остальные, собираются в обособленные группы, и так как источник еды недолговечен, – а от поедания плоти земли вот уже ничего не осталось, – они принимаются со скабрёзной экзальтацией поедать своих товарищей.

Разражается смехотворная баталия между вражескими войсками разных групп. Увольте, что же заставляет их враждовать? Кусок *мертвечины*? Знали бы они, что войны несколько не увеличат их шансы на жизнь – что ешь, то и получаешь. Почему бы им не употреблять более *питательную* снедь, которая до сих пор оставлена без внимания? Таким образом, я ещё раз утверждаюсь в мысли, что мои подопечные невысокого интеллектуального развития...

Тем временем эти несчастные гомункулы скрутились колёсами в своих машинах, уставившись в вычищенные лобовушки стёкол горящими стеклянными глазёнками, – даже трудно предположить, что они о чем-то могут думать в этот момент. Машина катит сама, – похоже, она поживее их; а может быть, под ней кроются сороконожистые лапки? Свысока мне кажется, что это передвигаются подкожные микрочипы; а эти микровирусы, сидящие в них, – как это ни парадоксально с их-то уровнем развития, – в качестве *главных* «заводил».

Вы, наверное, думаете, что они невинно ползают под кожей своей планеты? Ещё бы! – у меня от них такая зудящая чесотка, что только когда их накрывает ночь, я могу прийти в себя. Эти гады будто бы вживляются в меня! Иногда так хочется выловить их оттуда — к себе, как моллюсков из ракушки, чтобы их прихлопнуло давлением, как прыщ. Но нет, я должен соответствовать своим свойствам и подавать пример!.. Так что лучше буду действовать незаметно, без привлечения внимания, иначе эти нюни пустят сопли и растекутся, – вот скажите, зачем мне нужны сопли в коктейлях? Им будет достаточно и лёгкой встряски. А может просто вырубить сеть и посмотреть, как *тогда* запоют? Так и поступим.

Бу-у-уф! – и вся планета осталась обесточенной; шнур к кабелю обогрева пустых и непо-
требных глаз перерезан; в глазницах вновь, как когда-то, засуетились фары дальнего света. Замерли бамперные машинки в парке аттракционов, прислушиваясь к общему гудению, пока тихие шажки наблюдателя-сторожа медленно ковьялят в их сторону. Его последний обход

завершён, и тут он — а ну в пляс! — облитый светом торшерных фонарей. Пока никто не видит, он забирается в одну из машинок, и, воплотившись в ребёнка, с детским озорством жмёт на гудок.

Гомункулы замирают на своих позициях с содроганием пульса, — их наручники времени впервые дали *сбой!* Почему, — спрашивал я себя тем временем, — я этого *раньше* не сделал? То время, бывшее для них мотором слаженности и организованности — всей их сути — заглохло. Поредел запах кофе и табачный смог, — а *зачем* это теперь нужно? Настало *другое* время: время избавления от панцирей машин; время объединения и поднятия на ноги. *Пока* что они в прострации, — «где мы?», «кто мы?». Как раз самое время начать все забело.

Тем временем я наблюдаю за ними вблизи; даже пришлось немного отпрянуть от облака, чтобы не внести смуту своим присутствием. Мой коктейль, наконец, обзавёлся пузырьками газа, взбодрившись ферментацией. Кажется, в моём мини-баре наступил Хеллоуин, хотя это всего лишь одна черепушка загорелась жёлтыми озлобленно-испуганными глазницами. Вот они все высланы черепками на барной стойке, покуда их продолжение уходит корнями глубоко в настил материи. Их черепки остаются чувствительными. Остальная же часть, точно под действием анестезии, не ощущается; при этом они даже не догадываются, что их руки до сих пор скреплены пожатием между собой, начиная с самого зарождения их планет; с *их* рождения. Когда у одного меняются электрические импульсы колебания в костях, остальным тоже передаются импульсы по рукам.

Кажется, начинает пахнуть горелым, — да ведь это пожар! У одного из этой шайки загорелись дыбом вставшие волосы, а из челюсти, все причитающей немые «а, а, а» и «о-и, о-и» дымится адская вонь!.. Остальные, словно в подпитии от бесполезного истечения электричества помешавшегося, танцуют в эпилептическом припадке, баламутя тишину эхом реверберационных зычных тресков. Я не знаю к кому бросаться, но по внезапному наитию хочу только одного — пресечь этому горящему чёрту голову, — пусть себе катится! А то, не случись, бешенство распространится по цепочке. Ну а если, — думаю, — пожар всё-таки распространится, тогда тематическая вечеринка «К Аиду», издали привлечёт внимание посетителей, что тоже дело хорошее; и пускай идут. Затем я тотчас опомнился: а что будет *потом*, если все сгорит к Аиду? Нда-а, рано, рано ещё им туда!.. Когда кости будут изъедены червями, остатки и сами туда свалятся.

Посему я решил предпринять щадящие меры: полил на беспокойную голову из чайника, в то время как водяной поток фильтровался сквозь его стиснутые крепкие зубы; сбрил под корень клочок спутанно-вздыбленных волос, дабы предотвратить повторение возгорания, — иногда такое *случается* от усиленных затяжек никотиновым мозгом. Просто они переволновались, — и именно поэтому я в непрерывном поиске щадящего к ним подхода.

Таким образом, на этой планете впервые прошёл дождь, правда, с такой нахрапистой силой, что в долю мгновения, как только эта обильная струя хлынула из пожарного шланга чайника — враз обмыла рёбра мегаполисов. Смог и запах кофе навсегда был прижжён в недрах атавистического мозга. Сухие тучи, доныне вечно закрывавшие небосклон их планеты, теперь, по вразумительным причинам, пропустили сменяющееся чередование цветных переливов на почерневшем полотне неба, — как видите, я успешно дебютировал умелым цирюльником!

Может, я *потому* такой умелый, что в моих руках не шелестят банкноты? — я успешный *банкрот*, всеми забытый, — а желтопрессованные слухи обо мне — залог такого успеха. Конечно, весь антураж моего заведения — хлам и старье. Кто бы захотел пить из антикварных черепов всю ту абракадабру, в них замешанную? Их содержимое мне следовало бы слить на помойку ещё несколько миллиардов лет назад. Доныне, я был уверен, что они наполнены астроградным *сусл*ом, — как меня уверил мой поставщик отбросов промышленности; но как

только они пропали *прежде*, чем *забродили*, место уверенности заняло смутное сомнение. Во всяком случае, меня в этом убедил мой постоянный посетитель — добропорядочный зоил.

При дегустации он уселся за стойку, и, словно мой давний друг по несчастью, выпил залпом по чарочке из каждого черепка, дабы ободрить и закалить вкусовые рецепторы перед поездкой в другие заведения. Напившись, он *одурённым* — да не *охмелённым* — обернулся на меня у входных дверей и разочарованной флегматичностью протянул: «А в ту, лысую, для вкуса добавь с горсть корицы и ванильного сахара и разугрей, — а то, как сопли!». Я покорно исполнил просьбу, поставив башку нагреваться на маленький огонёк. «Всё-таки перестарался... — печально вывел я, помешивая, — кто ж знал, что тромбом отключения *электропередач*, я задену их *главную* артерию?»

Тем временем вопреки моим предположениям, горожане на Лысой планете нюхнули веселья... Рёбра-высотки всколыхнул прилив лёгочного бриза; запахло летом, какого здесь никогда не знали. Чуть ли не каждый ощутил некую внутреннюю тягу к познанию собственной *души*, — которая, к слову, начала свою историю с неово-песчаного побережья детства — одымлённого призрачным флёром дымки испарений на светло-сизом небе — под мягкие и тёплые брызги выныривающих из воды дельфинов.

Дух Ребёнка — Мединит (так его зовут), наконец встал на ноги и без опоры на рёбра, сделал свои первые, самостоятельные шаги. Рёбра же покорёжились, истончившись без своих бессменных наполнителей — гомункулов и с них медленно начали сползать жидкие камни рабства.

Довременно спохватившиеся правоохранительные органы, — которым тоже оказалось не под силу противостоять потустороннему посылу, — со своими замшелыми резиновыми дубинками, повылезали из своих машин и моментально их сигареты, — все ещё удерживаемые в клешнях рук в готовности вновь быть просунутыми между зубов, тронувшихся гниением, — вдруг задымились ароматом дамского флирта. С запозданием уловив нотки пьяняще-вишнёвого вкуса и вспыхнув с затяжной медлительной серьёзностью недоразумения, они зашлись расцветать на глазах, сменяя свой гранитный оттенок кожи — на оттенок мягко-персикового цвета, спускающийся ниже от лица. Сигареты повыпадали из рук, как заключительное любовное письмо, опущенное в почтовый отсек; как последний жёлтый лист ноября. Их веки обмякли и суровый взгляд отошёл, опустившись к растроганной душе. Глаза с детским восторгом — все ещё пребывающие в стадии метанедоумения — захлопали удлинившимися и овлажившимися крыльями ресниц. Ах, как же здесь прекрасно!..

Мне же снились дети в баночке ещё горячего вишнёвого варенья. О, этот сладкий аромат, пьянящий аромат, он воодушевил меня надеждой, что мой клуб ещё просуществует, — *найдётся* «наш» клиент! Может, коктейль в черепке, вовсе не коктейль, а *варенье*? А варенье любят все, без исключения!

Детская карусель с детьми поскакала резвыми оборотами; кони ожили, и, осёдланные, пустились во все бега. Я тут же проснулся, с ужасом вспомнив, что забыл выключить плиту, подогревавшую Лысую планету! Не одно так д... Замешкавшись, я скорее схватил сито и слил содержимое планеты, процедив от осадка. Затем процеженное ароматное зелье я поставил стечь на окно, а осадок вылил на помойку — за дверь.

Та склянка, в которую я перелил содержимое, была прозрачна; глаза гомункулов, в зените переноса, были распахнуты во всевиденье; в них, наконец, читалось подтверждение тому, что, прежде всего ими съедается не *сердце*, как думал я — а *жизнь*, — чтобы её, при случае, открыть открывалкой сердца. *Все* ошибаются, и в этом заключён рост и развитие. Они видели и верили виденному так, как будто все дружно переодели наизнанку свою телесную одежду, вывернув наружу «платоническую». Теперь они сгрудились в бинокль, микроскоп, лупу детально зревающих и увеличительных глазных линз; их взору открылись мерцающие звёзды, падающие

на стены отражением от подвешенного к потолку дискобола, – те *звёзды*, которые развеваются блёстками в их тельцах.

Они наблюдали лучи разноцветных кластеров галактик, отражённых от подвешенного стробоскопа, сменявшиеся эклектической непредсказуемостью попури сновидений, насыщенных витаминами, микроэлементами и фитонутриентами, которых им недоставало. Представьте их себе: блошки, пароксически обезумевшие от полифонии чувств – восторга и страха одновременно. Всё слилось воедино на какое-то секундное мгновение! Потом они увидели, как проходят между туманностей созвездий и планет, – не затворенная входная дверь, немало нанесла этого добра. Они только сейчас, с ужасом, осознали, что всё бесконечно и в бесконечном имеет непрерывное движение. Здесь раздаются дивные звуки прибора далёких вспышек и взрывов, внезапно глхнувших; монотонные эховые прокачки отдалённого набата, – совершенно *механические* звуки.

Им посчастливилось целое бесконечное мгновение пребывать на вершине мира, в недрах спящего вулкана. Чёрная вода плавно и бесшумно продвигается в углубление подножия вулкана – во тьму; над ними, словно неск вулкана, лежит моя рука, несущая их сквозь время и пространство. Однако, дело совершенно исключительное, когда я позволяю своим звёздам и галактикам растрачивать энергию задаром; сейчас это несёт очень большие расходы, – нам нужны посетители! Только чем же мне их привлечь? Всем давно известно, что в салуне «Ясемь-ля» – делать нечего, да и напитками моими ещё никто не оставался доволен: кому-то остро до возгорания, кому-то сладко до потери сознания, кому-то горько до посинения... *А кто теперь станет танцевать просто так: от самодостаточной захмелённости всепоглощающей цельности?* Нет, я взорву этих негодяев! Взорву своим МЕГА-миксом! Они у меня попляшут!.. Мой старый танцпол, наконец, встряхнёт своими запылёнными половицами. А пока что... нужно довести коктейли до кондиции.

От одиночества я вижу «их» в своих снах и ничего не могу с этим поделать; кто их на меня насылает? Ну не я же о них думаю?! Какой же все-таки у них мирок... совсем микроскопический! Однако какой плотный слой *осадка* там образовался, за недолгий срок их существования. Хочу кое-что вам разъяснить: в целях лаконичности и слаженности художественного повествования, я всему, меня окружающему, придаю *преувеличенные* размеры; я и сам, до некоторого времени, мог похвастать бесконечным размахом своего могущества и безграничности. Только (эту тему я разверну в дальнейшем) в какой-то кратчайший момент (с моей позиции пространственно-временного континуума), что-то пошло не так, и теперь я плаваю миниатюрным сгустком в своей безразмерной плоти...

Слышу их разговоры и шорох деревьев... Кажется, я просто спятил, если способен всё это слышать; слышать микробов! Нда... Сейчас эти черепки полны отравы; но, по наитию, если в каждый из них добавить недостающие компоненты, то может получиться что-нибудь неповторимое! Если смешать между собой все эти специи — горькие, острые, сладкие, – выйдет полнейшая белиберда, похлеще любого черепка в отдельности. Мне тогда, скорее, вынесут приговор за убийство. Но потому как для меня является не просто целью, но жизненно важной потребностью *раскрыть* этот клуб, я химичить не стану, дабы его не задвинули на бесконечность.

Что лучше: дрянной концентрированный напиток, либо разбавленный и дополненный сочетающимися компонентами? Я полагаю, вы бы предпочли *первый*? Не спорьте – природу не обманешь, – вы ведь пребываете в *первом* варианте; поверьте мне, я в этом деле знаю толк. Сам я склоняюсь ко *второму*, потому как выбираю прогресс и успех, – а не бессилие перед страхом и дальнейшее сумасшествие, – если, будем верить, я ещё не двинулся умом, поверяя микробов в личное. Ну да ладно... помещу-ка я теперь дуэт корицы и ванильного сахара, по рекомендации учтивейшего друга, в омовённый череп, обрётший боевое крещение...

Это было похоже на резкий спуск с самой высокой горки в аквапарке; на встряску, с которой болезнь Альцгеймера обрушилась обновлённым прозрением. Летишь вниз, в бездну; пролетаешь мимо рая и встряёшь ступнями в магму пекла, оставляя горящую рану слепок своих ног, отпечатавшихся на обратной стороне листа белой бумаги. И мир меняется, соответственно твоему осознанию. Сердце молотит с задыхающейся невнятной содрогания, точно косноязычия минувших взглядов, отступающих от тебя на попятную и растворяющихся редким маревым *последымьем*. Теперь ты один, – безвозвратно оставленный и безнадежно потерянный; брошенный нажитками прошлых убеждений, долго и мучительно сдавливавших твою шею.

В то время Мединит выборочно огораживал каждого микроба в отдельности, оставляя наедине с собой и осознанием. А сейчас и этого делать не приходится: они *уже* испытывают прозрение, причём все разом! Теперь им будет проще согласовываться между собой, потому что каждый вывернут душой наизнанку (это уже подразумевает доверие, понимание и принятие); лёгкие полны кислорода; желудок — неистощимым источником витаминов; сердце — гармоничным ритмом всех процессов организма. Согласованность — показатель уровня *цельности*, которая отвечает за *единство*. Черви не посмеют сражаться с армией, где предводительствует душа. Дух ребёнка окреп и посдобнел; теперь он сыт, спокоен и доволен. Если бы сейчас, в этот час, пробил гром курантов, колоколов или ещё чего-то, это бы явно встрепенуло жителей, как может тревожить страшный сон посреди ночи.

После генеральной мойки черепа, размочившей и смывшей грязь, как перхоть с головы, гомункулы вдруг поняли, что на самом деле их мегаполисы (они как раз пробудились после сна, в нём прозрев) — обычные рёбра, изъеденные *червями*. Теперь они боятся одного этого слова, заражённого брезгливостью. Однако в их памяти остались блеснуть мириады бесценных самоцветов, блёсток, огней, туманов – и моя рука, в которой они запечатлели первый миг своей осознанности; моя шейка руки и амниотическая жидкость стеклянной утробы, где летали эти ночные мотыльки.

Ох, какой стыд! Неужто я разговариваю с частичками ванильного сахара и корицы?! Моя нездоровая фантазия когда-нибудь – так и знайте! – сведёт меня на Квазар. Хотя, с другой точки зрения, к чему эти сомнения и уныния? Может, когда-нибудь, я напишу о фантазии одиночества книгу и разошлю её во все далёкие галактики и соседние Вселенные. Может быть когда-нибудь так *случится*, что кто-то с восторгом подбежит к заброшенному и скитающемуся по звёздной пыли, маргиналу, и, признав во мне автора, попросит автограф, – мол, «вы были правы в своём одиночестве, – оно открыло для меня новое видение привычному».

Я открою микрокосмос посредством скрещивания ингредиентов разных напитков; это будет супер взрыв во всех прессах! Витаминизированный энергетический дринк, замешанный на сахарном афродизиаке! Всякая частичка материи останется в восторге! Пространство стен моего Космоса треснет по швам своих меридианов и параллелей, и, точно тягучая резинка, разогретая от вкружения своей головы, шлёпнется воедино. Зимы, вёсны, летá, года, дожди, печали, метели, одиночества, листопады и потери, быть может, сменят тогда свой магнитный полюс; стрелка компаса задастся оборотами в ритме смерти; безмозглые черепки, сбившись в груды костей, падут туда, где их уже заждались, а их освобождённые души растворятся в эфирах.

Космомиксер готов, только нажми на него и тогда все запоёт! Руты, шоколадные космеи, голубые лотосы, имбирные улы, монарды, лаванды и фиалки; невиданные зелёные травы; сорта различных упругих, кисло-золотых животиков алычи – крошек звёзд; кокосовая стружка мерцающих эфиров; сливовый джем материи; перцовый огонь лучей солнца; кофейная пенка недавно лопнувших туманом планет... Все это уже *было* в отдельности, но теперь, – насытившись миллиардом эмоций и состояний, сочетающихся гармонией, и искусно проникающих открытыми глазами, ртами и лёгкими, – сплетётся в *цельный* микс! Теперь это будет возможно:

на это будут работать ранее не используемые, невиданные и неисследованные ощущения, отношения, органы, эмоции и прозрения.

Всё превратится в своего рода мочалку с миксопроизводным гелем для душа, чтобы массажными движениями собирать со спинки ясельной Вселенной (прародительницы всякой Вселенной), – все ещё сидящей в ванной, – воспоминания её зарождения – то есть просвет и прозрачность чистоты. Мы станем губками обмывания той детской и невинной, радостной и искренней спинки Вселенной, которая одним своим смехом ляжет бальзамом на дряхлую персонализацию спины *теперешнего* эфира. Подобно тому, как расцветают поздно родящие женщины; как они со своим чадом на руках обретают второе дыхание и силу бороться с воспоминаниями о своей трансцендентной старости, эта женщина – с губкой в руках – будет мыть, – поглаживая воспоминаниями своей юности, – спинку малыша тех своих первых воспоминаний, когда её *саму* обмывали в этой ванночке.

Растёт Вселенная; растут органы и аппетит...

Как же там они, не видимые под микроскопом, но ощущаемые эфиром, меня составляющим, как же они умудряются жить *во времени*? Хотя, куда уж там, наверняка они даже не догадываются, что их мир – в отличие от моего, даже не расширяется, – время обходит их *стороной*; одна только *смерть*...

А если нет времени, как оно может быть «потрачено впустую»?..

Видели ли они солнце *таким*, каким я раньше видел его вблизи, каждый световой день?.. Впрочем, откуда им это может быть известно? Наверное, их солнце — искажённая рефракция отражения *здешнего* солнца; надир, плавающий у них в заиндедевских волнах волос неба.

Как же всё выигралось красками; полицейские поскидывали шлемы, и, оставаясь под покровительством Мединита, унифицировались осознанностью глаз, позастывав кто как – точно под взглядом василиска. Наконец-то я услышал в своей голове тишину; их муравейник закрылся. Теперь им не придётся быть обласканными мирным сном. Только теперь их мирок возрос так, словно очутился в картинной галерее модернистского творчества, с ароматом сырых катакомб; без света; с зажжёнными свечами в руках. Весь сводчатый потолок занавешен картинами; с них скапывает воск; в просветах между занавесью картин — религиозная потолочная фреска. Они продвигаются вперёд, покуда сам коридор постепенно сужается, словно гортань, рефлексивно слатывающая. Гомункулы группируются все ближе друг к другу, разглядывая потолок, освещенный поднятыми вверх свечами.

Вдруг, в шумопоглощающем пространстве раздаётся приглушённая а-капелла литании. Их закрытые глаза, наконец, прозревают, увидев *цельную* картину настоящего; заведено моргают в так скорости их продвижения, мерцая мреющими огнями. Как только стеной воск стечёт наземь и стены с потолками обрушатся обманым бутафорным картоном, пред ними предстанет черносливовая пряность сводчатого потолка серебристой многогранности ночи. Свечи падут. Они молились не тем богам, — *вот* почему их мольбы не были услышаны. Но сегодня все изменилось. Только сейчас они узнали мир таким, каким он был всегда...

Они осознали, что природа, на самом деле, значительно безобиднее и безопаснее считалки/игры, выдуманной ими в бутафорном мире; теперь права равны. В единстве толпы почти нет недостатков, кроме одного: *иллюзии* единства. Там, в галерее, их тела были худыми и вытянуто обособленными, как горящие спички; сейчас их души пребывают друг в друге, убирая грань между безгловым неприятием различных взглядов, мировоззрений, общественных норм и между ценностями *безграничного духа*, тянущегося сквозь зримое пространство. Вся та обмундированная и застрахованная полиция, страхующая одного жителя от нападков другого или группы – точно от недосыпа – совершенно не берёт в голову, что действуя на правах *огня* законов власти, она им же распалает и подначивает костёр преступности.

И вот, в конце концов, эти право-воспалительные органы поскидывали все свои экзекуторские добродетели — оружие, дубинки, броню — затушив огонь на своей спичечной

головке, – незачем им теперь отстаивать марево хартии писанных законов, ведь теперь над всеми гомункулами объявился *подлинный* властитель. Наступила ночь и звёзды с галактиками вмиг прошествовали перед ними из первых осознанных воспоминаний, сопровождаемых материнской любовью и теплом утробы; их вернули в животворящее чрево. Пришло время становиться детьми для своей старенькой, но все такой же любящей матери.

Муравейник стал для них слишком тесен, – разве могла в нём расти полноценная жизнь? Это была только отсрочка от жизни; отбытие ссылки; вырванные листы из черновика жизни с перечёркнутыми предложениями. Их «*мо́рок*» – а не мирок, являл собой микроскопический микроб в нутре Космоса; сейчас же их мир сделался бесконечностью во чреве матери Вселенной. Придёт время и он заявит о себе; вырастет и сделается сильным; кости нарастят мышцы. Теперь-то его *направят* в нужное русло!

Когда-нибудь магнификат их пения облетит весь мир, удивляя своей гармоничной слаженностью; звук будет навек одушевлён. Не заглушаемые реверберации будут вечно встречать зарождение новой звезды, планеты, или же отпевать «вошедших обратно», «вернувшихся восвояси» (о смерти). Эту удивительную музыку я до сих пор ощущаю фибрами своей души. Звучание это, по рассказам моей матушки, было явлено в момент моего рождения (но сам звук являлся *эхом* от некоего пения); оно воспринимается мной с той же благоговейной естественностью, как звуки в утробе.

Есть у меня одно тайное желание: *вновь* услышать ту мелодию, что сопровождала меня «на выходе». На сегодняшний день какое бы то ни было гармоничное звучание разладилось, и, преобразовавшись в иеремиаду гулов и завываний, приносит одни разрушения и всеобщие депрессии. Дела мои к Аиду... да и матушка давным-давно почила. И тут меня посетила безумная идея: необъяснимым способом *воссоздать* утраченную мелодию! Пускай она будет генерироваться в моём клубе. Пускай же вновь заиграет *мелодия*, а не её бесполезное эхо!

В последнее время расширение пространства замедлилось и процессы зарождения новых звёзд редуцировались, но никто не может дать пояснений этому репрессивному механизму. Сдаётся мне, не все так «смазано» в нашей системе Космоса; что-то даёт сбой; что-то сопротивляется инкорпорации вступления в *клуб единства «Ясем-ля»*. Работа застопорилась – все ополчилось, как злой пёс, догрызающий стальную цепь, сдерживающую его.

Тем временем идут холода. Исхудавший пёс, брошенный на произвол, жаждет воздаяния тому, кто его, – до сих пор любящего и преданного, – приговорил. И на сей раз нюх его не подведёт. Снежное покрывало мороза может сокрыть *следы*, но не сокроет духа *предателя*, который вырисуетя под действием мороза – точно узор на стекле. Найдись бесстрашный, что не побоится подойти к псу, – обласкасть, отогреть и накормить, – он бы, возможно, простил обидчику произвол. Но что-то не видать добрых сердец.

Бесконечное время превратилось в песочные часы и теперь остаётся либо *найти* бесстрашного, – и да наступит *лето!* – либо пёс вынюхает мучителя и оставит от него одни белые кости на снегу, поблескивающие корочкой льда. А если и ему пощады от жизни не снискают, тогда он издаст свой последний жалобный взвизг; песочные крупинки упадут ко дну; часы закружатся волчком; время начнёт обратный отсчёт. Облака, сбившись в единую группу, словно стадо овец, побегут, откуда прибежали, предвидя холода; их шубы и мясо пойдут в ход, – на обогрев и сытость тех, кто невидимой плетью их бил, но побоялся поднять руку и признаться коронеру.

Все пронесётся к началу, сквозь все времена, эпохи и эры, и, в конце концов, чернота пространства коллапсирует и пожрёт сама себя, так, что даже свет не сможет оттуда вырваться. Вот уж будет неожиданность, если зазвучит затихающе-дребезжащая ария то ли писка, то ли плача (та самая мелодия...). Иные решат, что это писк умирающего Универсума, но на самом деле это будет лишь очередным перерождением, омовением и расширением составлявшего его ранее масштаба, причём со сверхсветовой компенсацией! Универсум перепрошётся и рент-

геном инфракрасных лучей, – мгновенно заполнив окружающее пространство, как вспышкой фотоаппарата, – выявит *паразитов* в своём безмерном теле и вытравит их на Квазар; самоисцеление! Таким образом, над всеми гомункулофагами, – кто *не признался* коронеру, – свершится страшнейшая экзекуция. Это будет ещё одна ступень навстречу началу, в сторону абсолютной и непревзойдённой слаженности действующих органов.

Бабушка Весель-Лённая растит воспоминания о своём младенчестве. Вскоре она умрёт, но её подросшие «воспоминания» будут чтить память о ней, – и так будет всегда! Я тоже о ней помню, ведь как можно позабыть свои лучшие годы, воспитавшие твоё настоящее?

Я был её любимчиком — одним из её *лучших* воспоминаний...

Ну а пока что... из-под их поджарого и горького шоколада битума проросли, повысовывали свои головки, прекрасные и пахучие жёлтые цветочки — вроде вашего жёлтого *седума*. Шоколад дорог и впрямь подтаял под яркими лучами моей солнечной лампы, которую я навёл, дабы немного распалить их страсти к жизни; он покрылся всей той дрянью, употреблённой гомункулами ранее. Зелень начала стремительно окрашивать дороги и землю, взвиваясь ввысь и стремительно распространяясь, да так, что вскоре все жители поднялись на один уровень с верхушками своих многоэтажек; дошло и до верхушек мегаполисов.

Тех гомункулов, которые сопротивлялись самостоятельному пожертвованию (с уходом под мох), – то ли от страха, то ли из-за отказа от перемен, – мох припрятывал в свою зелень в качестве подпитки/удобрения.

Я совершенно заигрался; меня теперь не так заботит *вкус* моего напитка, как идея, выдуманная, возможно, на почве безумства: помочь *выкарабкаться* этим бедолагам, – и всё из-за неразборчивых голосков в голове, которые меня об этом умоляют!

Возможно, я об этом ещё пожалею, но покуда я и сам нахожусь в западне, этот зов помощи трогает моё *личное* «сердце проблемы», точно ложась бальзамом в *их* сердцевину. Знаю одно: помогая кому-то (когда у самого «по горло»), перестаёшь замечать, как твои *личные* проблемы, выстроенные в «мысленный отряд», становятся твоим *войском*. Когда ты помогаешь от сердца таким же нуждающимся, как сам, получаешь *обратную взаимопомощь*. Если ты отдаёшь внутреннему указу «помочь» (кому-то) больше *решимости, желания и патетической выразительности*, твои *личные* «воины» беспрекословно исполнят указ, так, словно он был отдан именно им. На самом деле, с полнейшей самоотдачей и сочувствием в сердце, это *ты* начал помогать нуждающимся, проецируя и активируя эту помощь и на *себя* – в своём мозгу.

Так вот я о чём... Как-то раз ко мне приходила одна душа, буду называть её девочкой... Саму историю я даже наскоро записал, озаглавив «Эфиверсум». Гляжу, девочка смышлёная, внемлит моим знакам и посылам... Захотел ей помочь. Вёл её на протяжении жизни... так нет! — увильнула, отмахнулась от помощи; решила стать самостоятельной в свои-то шесть! Ещё не постигнув *моей* «школы», она решила, что все сама знает и справится без меня... А ведь я *всегда* говорил: чтобы выпускники с дипломами «Освобождения» не стали руководимы «заученными правилами» своих же задатков, – закрывших собой «*выход*», что я припрятал за подаваемыми им знаками (понимание которых в шесть ещё не окрепло, только начатая грубую шлифовку, под жерновами своего «Я» и общества), – им *не надлежит* полагаться на пустую начитанность своего ума.

Так, понять меня сможет только тот, кто во всем видит *скрытый смысл* моих «ребусов», невидимо переплетающих весь мир. Под «ребусами» я не подразумеваю гомункуловую промышленность и плоды фантазии для безопасности: дома, машины, технологии, орудия, кутузки, — или как это правильно называть... Я говорю о том, что варилось в цельном *девственном* составе: о флоре и фауне. Гомункулы не задумываются о предназначении этих двух терминов, зато потирают натёртые деньгами руки, пахнущие деревом; в их зубах зияют остатки мертвечины, – то есть они, таким образом, подсовывают мне свою самостоятельность, намекая, что минус шестилетние взрослые *могут* прожить без меня, этим же бросая мне вызов.

О, вызов принят! Я предоставляю им такую возможность насладиться своим *всесилием*, однако, недолговечным!.. За это я обрежу им заячьи жизни, съем потроха и падающим зубочистным метеоритом начну выковыривать их из стиснутой челюсти планеты.

Но, не спорю, существуют гомункулы, способные читать между строк; даже та же Книга Бытия 1:26—2:3; 2:4—3:24, – где подтекст заданного мной ребуса изложен достоверно. Аллегорическое яблоко является мерителем вашей искушенности, — стремления удовлетворять потребности и желания; получать от чего-то удовольствие. Именно поэтому вы сегодня не живете мирно и поэтому же деградируете ростом интеллекта, загрязнением среды и увеличением потребности в безопасности. Это называется переходный период популяции: стремление убежать от детства, не зная куда; с закрытыми глазами и ушами, в стремлении обретения независимой самостоятельности.

Тут-то и зарождается паранойяльная мания все скрывать от *взрослых* взрослых; к тому же повсюду эти яблоки искушения: красивые снаружи, гнилые внутри. Они их будут пожирать машинами, теплицами, заедать мне назло, с закрытыми от напускного удовольствия, глазами, с громким чавканьем и пуканьем выхлопных газов новых машин, где из открытых окон выпячены локти с поднятыми вверх кистями, в которых дымятся не затухающие сигареты. И этот процесс формирования личности не прекращаем; паранойяльная мания и уже определившаяся жажда самостоятельности переходит в независимое высокомерие, нарциссизм и агрессию. Иными словами – как можно судить – жажда удобств и безопасности наоборот приводит к конфликтам и небезопасности, и все потому, что нет тормозов у той самостоятельной машины, которую они завели.

Потребности все расширяются – как мох по земле. Желудок, изначально довольствовавшийся солнцем, водой и хлебом, теперь не видит смысла в хлебе без ветчины, облитой майонезом и кетчупом; солнце и подавно враг для глаз и тела – от него нужно защищаться очками и одеждой, а вода... вода «не вставляет»! Каждая отдельная почка эгоизма поглотила бы своей самовлюбленностью и самодостаточностью целый мир. Они тянут сок из корней, и, позвольте — это они ещё не начинали *цвести*! Но что же вынуждает их взростеть? Что происходит в их рассольных головах? Почему они изо дня в день, как заведённые, ходят на работу, которая их даже не радует? – если их вообще способно что-то радовать, кроме никотина и кофеина, – обычной привычки. А все по той немудрёной причине, что, либо их духовный мир истощён до смерти (корни которого использовались не по назначению), либо он *уже* мёртв. Без *духовного* плана, материальной пищи всегда будет мало.

И кто же, скажите, закрывает им пути ко мне? А как вам такой пассаж: всё дело в избытке интеллектуальности и зачитанности знаниями! Нет, я не приверженец обскурантизма, но избыток знаний, в которых утопает неокрепший юнец, вымывает его духовность. Впоследствии его повсюду окружает не *удивительный* мир, который хочется узнавать постепенно, наслаждаясь каждым мгновением соприкосновения с ним – а набор терминов, значений и определений, делающих всё обычным и скучным, что, порой, даже закладывает в него отвращение. Но ещё раньше – что прискорбнее всего – у них закрываются уши и глаза, зато рот с тысячью зубов, нос с завидным обонянием и руки, ищущие удовлетворение нужды искушаться, дисциплинируют систему расширения своих нужд — работой. Другое дело, когда приходит время и он самостоятельно решает нечто познать и изучить, – а не из-под чьей-то палки/по чьей-то прихоти.

И вы только представьте себе моё удивление, когда среди всех этих единообразных сорняков, я увидел двух *девочек*. Я тотчас восторженно и прозрел с затайкой дыхания: словно перламутровые жемчужинки в ракушке, вот-вот солюющиеся в одну, схватившись за руки и безмятежно подпрыгивая, они бежали по траве, усыпанной золотистыми цветочками хризогонума, присвистывая им известную шутивную песенку. Я был невозможно взбудоражен

и потрясен! Их не заинтересовала даже детская пустая площадка во дворах, овеянная весенними дождями – нет, – не заметив её, они пронеслись мимо.

Создалось впечатление, словно они парят на ветряных крыльях. Невинные и восторженные таинством, в белых льняных и свободных платяцах, они даже не догадывались, что смотрят прямо на меня! – я как раз притаился поодаль, направив на них луч света, чтобы отчасти скрыть себя. Дабы убедиться в их чистосердечии и чувствительности к моим намёкам, я обошёл черепок планеты с другой стороны, расположившись позади них и слегка подул в их спины: они ещё веселее и резвее запрыгали вперёд, весело засмеявшись и застенчившись тёпелому дуновению, приподнимающему их платяца. Я долго, очень долго их ждал! – тех, кто воспринял бы моё дуновение не обычным *порывом* ветра, – по-научному – представляющим собой движение воздушных масс между областями с разным давлением, – нет! – а как *направление* и *зов* высших сфер. Сквозь этих девочек пел морской бриз; их хрупкая фарфоровая кожа принимала восхищения моих бережных лучей глаз. Их счастливые личики светились улыбками; прозрачными улыбками глаз.

О, Всевышний! Как давно, очень давно меня ничто так не радовало! Они вели очень милую беседу, пока я обдавал их дуновением позади. Тут они вновь устремились вприпрыжку, перебегая балку через старый деревянный мостик. После, я обдал дыханием одну из них – с правой стороны и тогда они, схватившись за ручки, свернули налево.

Если же в моём клубе всегда темно и безрадостно – потому что свет поглощается крошечной тьмой, – то у них волшебство красок утреннего рассвета! Я даже взял себе за ежедневную обязанность *поддерживать* этот свет; оставлять лампу включённой даже в дневное время. Раньше она *тоже* оставалась включённой, просто теперь я сбрил тучи волос, за которые едва ли мог пробиться свет. Хочу сказать, после того эпического проливня из чайника и обильных лучей от лампы, появился – наряду с цветением почвы – приятный цветочный аромат... на который, при сближении к черепку, у меня объявилась неповторимая реакция. И хотя я ни на мгновение не хотел отводить своих глаз от корицы и ванильного сахара, мои глаза до того слезились, что я не мог различить своих прелестниц; нос щекотало несносным юлением порочного порошка.

Пыль и газ из атмосферы моих лёгких выплеснулись наружу одним бравым чихом, и, слава Всевышнему, без бриза! Пальнул я, конечно же, прямо на объект наблюдений; девочки вскрикнули – но без страха – ещё плотнее прижавшись друг к дружке. Над их тропосферой нависла туманность, разделившая небо на пробор ярко-розового и сине-аспидного цвета. Туманность незамедлительно заискрилась мельчайшими блёстками молодых звёзд. Из-за непроницаемости и рефракции лучей, излучаемых лампой, я, мало того, что видел девочек, словно в увеличительных очках, так ещё и на их весёлые и радостные головы нагнал будничный сумрак, смешавший все краски в грязный цвет.

Поле, на которое я их вывел, было усыпано жёлтыми энотерами. Сине-бирюзовая трава так разрослась в углублении лога, в который они спускались, что приподнимала их платяца; щекотала и гладила перьевыми кончиками их плечи, шею и волосы, поголубевшие в сумраке. Я попытался смахнуть аллергический осадок с неба, но на меня вдругорядь, точно окатом веера, пыхнул щекотливый порошок и я чихнул прямо им вслед, – только теперь адвекция бриза от моего насморка, которая на границе в их стратосферу значительно охладела, погнала их в спины *снегом*. В этот момент они взглянули вверх и когда до меня дошло, что уже поредевшая туманность выдаёт мой силуэт, тотчас отпрянул, присев за черепок и подглядывая за ними одним глазком. С другого края, над убегающим вдаль «поездом» темно-паркового полесья, виделось тусклое отражение лунного ночника, окружённого золотисто-заглушённым венцом. Я почти ничего не видел, зато слышимость решительно улучшилась.

— Марта! – заговорил чётко-бархатный голос, который до меня всё так же доходил как писк. — Я такого ещё не видела! Мне кажется, раньше трава не была такой высокой, да?! Боже, погляди, какая над полесьем красно-оранжевая луна! А ты заметила, как похолодало? – с воодушевлённой вспльчивостью красноречила она сквозь возрастающую дробь зубов.

— Да-а!.. И вообще никогошеньки вокруг!.. Теперь мне страшно... – послышался ответный писк – вмиг притихая – с нарастающей возбуждённой тревогой.

— А помнишь, там, на лугу, *козы* паслись? Так их сейчас там нет, но всё равно, *слышишь?* как будто кто-то где-то тихо млеет вдалеке... как-то жутковато!..

Затем я слышу мягкий шелест поспешных шажков и крик испуга.

— Ой, мамочки! Фелина, я дальше не пойду! тут... — раздаётся ускоренное шуршание, – коза! *мёртвая*, белая...

Я, признаюсь, был встревожен не меньше и немного выглянул двумя глазами, чтобы увидеть причину беспокойства, которое встревожило и моё благорасположение. Я слегка привстал из-за черепка и в это же время мой нос учуял неладное, и что было мочи всплыл на бедняжек промозглым ветрюганом. Они вмиг испуганно обернулись в мою сторону и я порывистой молнией присел вниз, но один глаз всё-таки оставил сиять, пока второй был скрыт терриконом. Моя сторона, словно разожжённый костёр в камине, воспылала алым, тогда как глаз сделался куда менее приветливым от смешения с розовой туманностью, налившись устрашающе-багряным цветом.

— Ух *ты-ы*, Фели-и-ина... у террикона красное *солнце!* – вскрикнула одна другой. — Скажи, у тебя нет чувства, будто за нами следят... *оттуда?* – с содроганием выражения произнесла она последнее слово, замедлено вознеся пальчик вверх.

Пришлось вновь немного отпрянуть, чтобы не вызывать никакого «чувства» и «ощущения».

— У меня нет. Только есть *чувство*... что за нами следит вон то *солнце*, – она указала на мой глаз. – Ты посмотри, оно исчезло, хотя я только что видела его!

Наконец туманность рассеялась. Проступил солнечный день. Солнечную лампу, которую девочки приняли за лунный ночник, я установил отражающей головкой прямо в зените. Тогда же я с облегчением вздохнул, не предвидев той крепкой свежести своего дыхания, которая на них повторно низвергнулась.

— Ого, какой ураган! Да что это здесь *происходит?*! Трава как будто по мановению какой-то силы приминается ветром прямо от нас – как солнечные лучи. И откуда, скажи, здесь запах морского бриза?! Это просто волшебно! – сменив предупредительную интонацию на восторженную, проговорила Фелина, выразив этим мне свой скрытый пиетет.

Я на радостях потёр ладони материи, более не в силах сдерживать эмоций счастья. Эти детки – ванильный сахар и пудра корицы — то, что нужно! – решил я вконец.

Раздался умиротворённый шелест мерцающих серебристых висюлек дождя, отходящих от струн моего сердца; в ушах запели радостные трели, которые отобразились на планете пением птиц. Запахло тёплыми нотками цветущей акации. Возможно, я сентиментальный романтик, но девочки запрыгали вдоль лога, сквозь веющие на них волны трав, при этом заметив: «Прямо как *настоящий* гала-концерт! Такого мы вовек не забудем!» – лились, словно в мои уши, похвалы. Фелина, произнеся дифирамбы, отбежала от Марты на несколько шагов, чтобы закружиться с обращённым ко мне лицом и зажмуренными солнцем, глазами. Покуда одна пребывала в забытии, вторая уже прошла вперёд, увидев на свалке мусора выброшенную мёртвую кошку со всклокоченной шерстью.

– Фели-и-на-а!.. Тут мёртвая к-кошка и она-а... шевельнулась! – взвизгнула побледневшая Марта.

Каюсь, это суетное движение в кошке я воссоздал нечаянно!.. Я предпринял неразумную попытку на мгновение ее оживить, чтобы она куда-нибудь самостоятельно зарылась и девочки её не испугались.

Неожиданно Марта подскочила к Фелине, заслоняясь за её плечи: полуразложившаяся кошка дёрнулась вновь, словно электрическим разрядом. Это был тот остаток энергии, который пришёлся от первого разряда. Но, отнюдь, в мои задачи не входило запугивание мертвечиной — т. е. смертью — я только хотел воодушевлять идеей готовности *познать*.

— Марта, кажется, я это видела!..

Тут Фелина хватает Марту за руку и подталкивает возбуждёнными рывками вбок, стремясь проскользнуть вперёд неё. Так они стопорились через каждые несколько метров, огибая логовый уступ. На полюсе меридиана лога, указующего на даль полесья, они обнаружили дохлого чёрного косматого пса — как в подтверждение устрашающей и беспощадной жестокости смерти. Но, слава Всевышнему, я не додумался оживить его прежде, чем заметил вставленную меж его выпирающих рёбер, палку, — а иначе вышло бы *до* смерти жутко.

Я заволновался за девочек: их личики, при свете дня, отчётливо посерели; их ножки подкосились от перенятого у гомункулов, страха перед неминуемым. Им казалось, словно трупное многообразие покорёженных, вывихнутых и переломанных рук со рваными, рубленными и резаными ранами, тянется позади них, сквозь шерсть хищной травы, которая жаждет крови для своей почвы. Дети недоумевали, зачем их сюда принесло, а я рвал на себе волосы, недоумевая, *какого* их сюда направил, — видимо, в стремлении с ними распрощаться и больше никогда не *увидеть*...

На этот раз, когда они попытались бежать в своём направлении, я абсорбировал собой всю окружающую силу, и, завидев меж двух ив, склонивших кудри — полуживую птицу, обдал её током, собранным со всех своих жил, не взяв в расчёт соотношение с её размерами. В тот же момент, когда девочки к ней приблизились (их шаги были затруднены какой-то вязью под ногами), «полумертвая», прямо перед их носом, высокоскоростной молнией взмыла ввысь — как ракета, теряя на ходу свои чёрные перья с удивительным звуком стрекотания огня, которым она загорелась. Перья эти осыпались на землю каплями лавы и ошмётками пепла.

Между тем девочки успели проскочить промеж ив и выбраться из лога на поляну (где раньше паслись козы). Их растрёпанные золотистые волосы налипали на лицо, а платица приставали к вспотевшим разгорячённым тельцам.

И пока Зоил-Нахалыч толкал меня в плечо, пододвигая, чтобы заглянуть в черепок на продвижение процесса, я понял, что вымышленная глава моей вымышленной книги определённо должна быть закручена во *вселенском* масштабе, — соразмерно с *моими* намерениями на неё. Пока я размышлял над тем, как могу достать девочек из черепка, мои тугодумья свели на их планете брови туч. Трава насыщенно-бирюзового цвета распустила встревоженные веснушки энотер (лунных цветов), в ожидании моего вердикта.

Гомункулы, появившиеся из ниоткуда, вдруг засуетились по соседским домам, вроде как за солью или спичками; мельницы замахали ошалевшими веерами ресниц, словно бы недоумевая разразившейся суматохе, — однако с верующей готовностью. Мёртвая кошка подала голос — примявкнула — дав о себе знать, чтобы и её не забыли включить в списки «приглашённых» мной, — уж она-то *совершенно* готова. И косматый пёс с козой туда же: закашляли и заблеяли каверной своих лёгких, ощутив мою руку, проникнувшую через магнитное поле смерти. Ну-ну, дружки, вы ещё на этом черепке послужите, — понесёте в народ прокламации о Всемиловитом, который воскресил смерть к жизни.

Но от этих гомункулов нечего ожидать восторжений и прозрений: их пугает все, что отвергается их несуществующей душой, но ежедневно рисуется грешным упованием ума. Озёра слёз и ржавой крови взрослых детей, будут стекать по булыжным дорогам. Вскоре все

отходные полумертвецы сольются в единую братскую канаву, – разве это жизнь, на 99,9% состоящая из просроченного кофе?!

Нет! Этим девочкам я *лично* аннулирую из списка этих недоумков; пусть лучше они *лишатся* своих прелестных физических оболочек, лишь бы только не были искушаемы всем тем видимым, прогнившим от сердцевины.

Марту здесь запомнят Береговой, а Фелину — Галактистой, – просто потому, что мне так заблагорассудилось.

Моя невидимая рука коснулась кончиком пальца их головок; коты, козы и псы мигом намагнитились и подскочили к девочкам с чудной заплетающейся перевалочкой, издавши какофонию разноскрежечущего, млеющего агонией, коверканного расстановкой и хриплоиздыхаемого остатком сгнивших лёгких, сухого, проседающего связки, противного чавканья. Ну, думаю, а *куда* их девать? Пойдут на войды пространств, не заделанных штукатуркой материи.

Девочки вмиг рухнули обмякшими коленями на скошенную траву и я прикрыл их всех разом своей рукой, пробубнив про себя молебен за упокой. Затем я вынул руку из черепка: их бездыханные тельца так и остались там лежать, – но только *внешние!* – их же *внутреннюю* суть я прихватил с собой... Пускай встряхнутся гомункуловы огрубевшие души таинственностью *истинного* воскрешения! а там уже видно будет, *куда* или на *что* пускать остальных.

— Неужели... вы разговариваете с *напитками*? – недоверчиво отозвался дорогопочтеннейший зоил.

— Ну, дорогой мой, я и с вами порою говорю... А теперь пытаюсь докопаться до причины испорченного вкуса, – жалостливо отреагировал я, покуда по моим жилам растекалась блаженная корица с ванильным сахаром, которая тут же – приятным и лёгким привкусом отдалась моим вкусовым рецепторам.

– Тогда вам предстоит покопаться в себе ведь, прежде, мы есть то, что создаём в себе, – высказался он и направился к выходу с галантным разворотом, и протяжной певучестью взлетающих вверх шагов, словно намагничиваемых полом, при этом мягко блеснув чёрной мантией, дыхнувшей на меня загадочным многоточием.

Колокольчик над дверью последний раз встряхнул головкой, уставившись на меня пронзительным одиночеством. Пространство объяли ржавые тени деревьев, заколыхавшихся под притушенной лампадкой, подвешенной над барной стойкой.

Планета Рутинезия

Этими черепками источается удивительный заряд энергии, коей я восполняюсь, подсматривая за жителями. Потoki сладких грёз одолевают мои младенческие пятки. Во избежание полного всасывания в кровь – душ моих девочек, я незамедлительно отправил их на *соседнюю* планету – Рутинезию, чтобы они навели там порядок. Уж они бы освежили и разрядили их консервную устаканенность, обёрнутую в бурдюк, откуда пенной неохотливостью и безразличием исходят миазмические пары торфа.

И вот, верите или нет, но только я их туда отправил, как уже спустя секунду, спрашиваю себя: «Как я додумался их туда сослать?». И сам же себе отвечаю: «Ну а как иначе исправить ошибку своего творения, когда оно уже давным-давно материализовалось и живёт своей жизнью? Одной переменной мыслью этого теперь не поправить, увь».

И вот я наблюдаю слизкий торфяной сапог на ноге у позеленевшего трупа. Тут такие все: болотно-зелёные, липучие до отвращения и пованивающие ставочной сыростью.

У особой женского пола корпуленция крупнее и мощнее, чем у мужского. Пастозно-расплавившаяся вязь кожи равномерно вздута мышцами, из которых, точно из кальдеры вулкана, извергаются унылые струйки зелёных миазмических газов, источающих необычайную вонь, – так они дышат. Их липучести могла бы позавидовать самая въедливая и примитивная пиявка акантобделла. В нутре каждого из них булькает множество жаб, лягушек и глухих выхлопов газов, отчего создаётся впечатление, что их беспокоят метеоризмы, – а те накожные волдыри — *последствия* таких процессов. Они то уплощаются, заглатываясь животами, то раздуваются шарами, распространяя жутковония. Мужские особи... – это плаксивые и угодливые дохляки, цвета высушенной шкурки лягушки. У них изъеденная лысиной, грушеобразная голова, с серпообразным промежутком – окаймляющим затылок – редких, но длинных волос; кожа буквально обтягивает скелет с органами, так, что может показаться, будто это пришелец.

Самый распространённый лозунг этих провинциальных неврастеников и ипохондриков: «Не торопи улитку». В сточных каналах и водопроводах бурлит очередная порция застоявшейся и зацвётшей воды, порционно поспешающей во все краны на завтрак, обед и ужин. Ею же со всей леностью убирают помещения, и, впрочем, следят, как бы эта вода никуда не убежала, – у неё имелись все шансы ожить, подобно святой. *Можете* себе представить, каков ассортимент древнейших, недавних и сегодняшних паразитов и микроорганизмов там безостановочно размножается? От миазмов, разгуливающих по помещениям, предметы мебели не стоят, а летают, припускаясь к полу в промежуточных сменах потоков.

Чем дальше я всматриваюсь в этот унитаз зрелищ, – зажмурив глаза и стиснув рот и нос, – тем больше я благодарен тому, где пребываю сам, – хотя в дальнейшем вы поймёте, что это всё *тоже* относительно. Но без этих карапузов-гомункулов, я, вероятно, и того не имел бы. Чего стоит громкая слава работы в своё удовольствие и для себя; ещё к этому прибавить постоянный интерес со стороны окружающих к разрешению моей дилеммы с напитками, и... Ну, это пока ещё вам *рано* объяснять, но обещаю, что вскоре тучи рассеются!

Так вот... если говорить о растительности в том черепке, то она, по большому счету, вьющаяся, – как паутинообразный мох, покрывающий почти каждый приземистый дерновый домик. Разветвляющиеся к участкам, тонкие увилистые дорожки, выложены рёбрами камней в форме чешуи; их покрывает толстый слой улиточной слизи, за долгое время успевшей загустеть в скользкий каток. Да-да, именно *улитки*! — болотные прудовики – размером с ваш кулак; здесь они являются, наряду со священной болотной жижей водоканалов — почитаемыми брюхоногими! Они здесь везде: чего стоит та же трубопроводная *вода* с их слизью. И если кому-нибудь на пути встретиться это существо, то обгонять его не станут (по традициям), а будут терпеливо плестись вслед.

Если же в прошлом черепке все куда-то торопились, то здесь, напротив, все движется в темп улиткам, — вяло и бесформенно покачиваясь движениями влачения. Однако, как ни странно, столпотворения здесь — явление *редкое*; большинство чахнет в стенах собственных домов-теплиц. Неистребимо здесь и постоянное гудение, жужжание и зудение насекомых, в частности — зелёной мухи-падальницы; чем она и любит полакомиться, так это выделениями самих жителей, — что, кстати, для них обращается в фиаско: не успев приземлиться на объект желаний, крупные нательные поры рутинезийцев всасывают их в себя, — получается как бонус к рациону гомункулов, — так сказать — *разнообразие*.

Время тянется подобно глассандо смычком, режущем струны до того тяжело — как нож по волосам, что струны и каждая расстроенная струна в отдельности, лопаются со звуком выдеранного седого волоса из бороды старика. Эти звуки высохших капель слёз выкидыша можно слышать повсюду: чаще — в трубопроводах; на улице — в занавесях частичек тумана, адвектируемых по городу зябкой рефракцией свечения лунного ночника.

До момента, когда я направил сюда ночник, здесь царили ясные сумерки.

«А *дети*? Куда запропастились *дети*?!» — спросите или возопите вы в недоумении. А как же... а как же *головастики*?! Здесь они летают по воздуху; время протекает и они постепенно укрупняются, оседая всё ниже и ниже над землёй, пока не преобразуются в одутловатые, желеобразные жестянки, наподобие родителей. Ах да, проживают-то они отдельно, в яслях экологически загрязнённого пруда. Соответственно моим наблюдениям, на уме у этих слизняков только одно: «обделать все подчистую», и, в дальнейшем, «забродить комнатной зеленушкой».

За всеми этими наблюдениями я совершенно потерял из виду Маргу с Фелиной. Решил унюхать их по запаху и тогда же всунул в планету свою голову, в надежде, что уж мой-то нос их не проморгает и запиликает, дав знать чихом. Ан нет... Понеслась канонада такой скорости чиханий, что отодвинутый вбок ночник, увеличивший сумеречную притемнённость, сыграл со мной злую шутку: моё лицо, порозовевшее удущьем, приобрело устрашающий отлив цвета вызревшей фуксии, наряду с покрасневшими выпученными глазами. Со всей прытью, закашливаясь и задыхаясь, я вынырнул. (Хочу добавить, что внешнюю видимость я приобретаю только в случае прохождения через границу атмосферы черепков.)

Жители, бывшие в сей час на улицах, видимо, поперепугались вторжению одичавшей небесной рыбы; их медлительность *мигом* сняло как рукой: глаза на лоб и давай гопака, не обделяющего ногами чтимых улиток. Улицы уподобились сплошному катку. В тот же момент меня пробрала мысль: что бы было, если бы кто-то это выпил? он, верно, прежде бы задохнулся от вонизмов, — а нет — его бы поразила цианотоксикация совместно с насморком, кожной сыпью и раздражением глаз. Их хоть *как* употребляй — хоть внутрь, хоть наружно, — только пропали они *насквозь* и желают тебе того же.

Нда-а, мое вторжение жители запомнят надолго! Сейчас вижу, как все размелись по домам, включили свои телевизионные приемники, по которым передают «свежие» новости, полемизирующие несварением и пуканьем прошлых застоев. Все бесконечные 24 часа в сутки один и тот же канал «Залипание», перемежающий повседневную программу сплетен — мониторингом продвижения воды по всем трубопроводам, канализациям и стокам. Программа сплетен включает всю газетную утку: во сколько кто вышел из дома и в котором часу зашёл... Для интриги и наглядности, корреспонденты подчас дожидаются у дома очевидцев и заядлых инсинуаторов, чтобы те вновь пропололи поросшую быльём, уже мёртвую несколько веков, замученную «утку». Опрашиваемые зауныло перечисляют движение по прямолинейной траектории (если те «пропальвают» относительно головастиков), которую «взрослые жабы» дополняют восклицательной точкой стояния на конце, — по подобию восклицательного знака.

А встречались ли им какие-нибудь подводные *камни*, «новые» *святые* или «новые» *экс-кременты*? Да нет, вряд ли; ими здесь и не пахнет, но вот «пахучие» *сплетни* — деятельность, распространённая на этом торфяном бурдюке, и является *основным* видом деятельности, хоть

и выжившим себя с зарождения планеты из-за застойных процессов. Буквально говоря, все инсинуации о соседях и жителях — это компромат на самого себя, и на всех себе подобных. Однообразие и сакраментальность являются для них корнем пиетета атавизму своих предков. Может поэтому их трубопроводные жилы такие безнадежно зацветшие? а недоатрофированные рты издают чревовещательное кваканье, родящееся из недр стёртого знания своего «Я»?

Они заглатывают болотную жижу, пытаясь восполнить брешь. Корни из их «Я» разрослись изнутри как перекасти-поле, приращивая гомункула к любой питательной для себя среде — наподобие липучки дурнишника; таким образом они цепляются к любой подходящей поверхности, чтобы насытить своё атавистическое эго.

Рутинезия — это планета Вызрелость, смерившаяся и впрягшаяся в безвыходность; это затянувшийся этап старости, морщин и неправильно использованного времени. Планета задалась должного обращения и уважения к своей персонализации, — и с какой стороны её ни возьми — везде одни дети и внуки, на плечи которых эти обязанности и ложатся — как липучка на одежду. То и дело им кажется, что «тут уже ничего не попишешь», «время ушло» и «какие ещё перемены, если вода, наполовину пустая, отлично устаканилась, осадок осел на дно и лучше уже не баламутить», — притом, что эта вода — осевшая она или нет — всегда травила их изнутри цветением и размножением сине-зелёных водорослей традиций.

Несомненно, вы можете *возразить* моей предвзятости, указав на *мой* теперешний застой, ничем не лучше их, — мол, доживаю в одиночестве, без посетителей и в крошечном мраке... Однако вам стоит уяснить одну существенную вещь: все вы мои *протезы* — творения моих рук, соображений и бескрайних фантазий; я увлечён *идеями*, включающей вас и охватывающей все 8 черепков моего клубка, — что утверждает мою *всемогущество*.

Белый лист напичкан правилами, алгоритмами, канонами, формулами, которых вы должны придерживаться, выполняя работу; а на *чёрном* правил нет — есть только свобода фантазии и раскрепощённости, где стирается грань между сознательным и бессознательным, высвобождая вашу сущность.

Белый лист — для чёрной работы ума, чёрный лист — для белой работы души.

Чего доброго, вам захочется упрекнуть меня в том, что все в вашем *жизненном сне* происходит слишком быстро, внезапно. Но, позвольте, у меня ничего не бывает *внезапно*... и прежде чем что-то предпринять, я долго наблюдаю, порой многими веками, эпохами, эрами... Я могу наблюдать бесконечно долго, ведь с вами нужно экономить энергию, — вы умудряетесь её тратить зараз!

А насчёт тех рухлых лягушонок, придавленных камнем, — так им бы черепашьего спокойствия и мудрости, а не упрямого преследования эха прошлого. Реять бы им в океане, а не быть на замусоренном приморье, прячась под камнями, либо с камнем на короткой бычьей шее, который не столько их *губит*, сколько *мучит* при любой попытке движения и высвобождения от гнёта. Влившись в бесконечность, ветер-спешка вас больше не потревожит, — там, на дне, всегда спокойно...

Безмятежность делает фокус ваших глаз ясным, и вы начинаете замечать много интересного вокруг, вот прямо сейчас — под ногами, над головой. *Не торопясь*, — как та же черепаха, ни за что не променяющая бездонные просторы на бесполезное кваканье, — можно прожить бесконечно насыщенную жизнь, а в спешке — только мгновение до смерти, — которой, кстати, я неизменно вас обеспечиваю, по мере поступления жалоб на жизнь. Смерти у меня завались! — но что такое *смерть*, если не начало новой *жизни*, преобразования, очищения, омовения, воскрешения и крещения? И это чудесно!.. Однако, не теперь... Теперь уже не время разлагаться: я, напротив, обязуюсь *пробудить* их к жизни, чтобы исполнить своё горячее желание, пока что истощённое анорексией их немощности и слабости.

А теперь... они собрались на каком-то семейном заседании, сгрудив всех близких и дальних родичей. У старейших из них — родоначальников корней, имеются багажники раковин, — в которых и перевозятся все остальные разветвления родственников, — высаящиеся вверх — к верхнему острию раковины прапраправнуков и прапраправнучек. Звучит граммофон; за окнами, заросшими лишайником, напевает прочная серебряная нить паутины: она напевает теми вздохами и выдохами, которые сопровождают поедание червей, кильки, ящериц и свежесдавленного соуса из личинок мух-падальниц. Льются обмена трюизмами информации, как всегда, самой «горячей», к «горячему» столу. Перебиваются кости останкам давно съеденной рыбы; пахнет непринуждённостью и заплесневевшим уютom совместного привычного проживания. Но зачем, скажите, я трачу энергию своей лампы, если они не замечают её *освещения*? А, может, просто не *различают*? Их крыши домов, нагромождённые обвисшими безразличной сонностью, коврами земляных залежей торфа и облатанные загустевшей слизью и загрязнениями фекалий великолепных мастеров-улиток, впадают увесистыми ушами бассет-хаунд в землю, — и нет ни единой неровности и зазноба. Да, это всё, что мне остаётся — описывать *крыши*, пока из дымохода виднеется струйка единения... Будем верить, что когда-нибудь я увижу тепличный туман над планетой-*единством*.

Один подвесной треугольник светильника, подвешенный на свисающий ножке, — как выдернутый глаз на зрительном нерве, на расстоянии ладони к приземистому столику, — неустанно раскачивался от газов, источаемых рутинезийцами. И чем больший интерес привлекала отдельную особь «избитая тема», тем стремительнее извергались зловония, и тем горячей и въедливей исторгалась клеевая вязкость из клапанов пор; в конце концов люстра кружилась вокруг них не хуже аттракциона «Катапульта». Двери открывались и захлопывались сами по себе; стены с мебелью землетряслись, зудя как набитые стиральные машинки, сливаясь в душераздирающее тремоло, только и норовившее заглушить назализацию противных, до заворота ушей, причитаний, брюзжаний, злословий и роптаний.

Вы только посмотрите на эти физиомордии: лягушка, которая увидела шимпанзе и невольно оттопырила губу. А в зелёных выпученных глазах мужей сверкает туалетный вагончик, который вот-вот прибудет на пристань облегчения. Лампа, обдаваемая парами, всё набирает обороты, раскручиваясь пропеллером, пока те, как вроде немощи, вспльхиво вскакивают со стульев, тихо ускользящих из-под их задов. «Ква-ква-а-а! Пк-па-ма, пк-па-КВА!» — зовёт их с улицы пришедший сын, внук, правнук, прапра... прапрапра... Он вернулся с какого-то увеселительного заведения, наподобие ставка. И так как ритуал запуска непросвещённых — в доверительное таинство инсинуаций — здесь особенный, то головастик, терпеливо клюющий носом у порога, как не переваренный сорняк, будет слышать уже сквозь уводящие незабудки сна, сперва то, как с грохотом попадают на пол все доселе летавшие стулья, а затем уже в сына, внука, слизняка и сорняка начнут вкачивать всю пропущенную предысторию и вводную часть заседания, не преминув и про основную часть. Причём все эти части будут чередоваться разными голосами, которые, — дослушав проповедь до конца, — он обязан будет распознать, огласив участников (а во вводе в заблуждение будут принимать участие непременно все родственники...). Если отгадает — его впустят. Тотчас раздастся гомон, как до его прихода; лампа вновь займётся мельницей взбивать и распространять потоки ароматов; сидушки стульев повспархивают без груза, как бабочки к небесам. А не отгадает — родственнички, томно вздохнув, раздосадовано склонят голову набок, к плечу соседа, и похлопывая его по спине, — «*ничего, мол, бывает*».

Эх... устаю я за всем этим наблюдать. Отвёл лампу, чтобы отдохнули глаза от этих бесполезных ритуалов и от запах дряхлого мертвеца, мумифицированного в ванной с зацвётшей водой. Нда, сегодня я меньше продержался за просмотром, устроив им короткий день, в надежде на их скорейшее образумление. Мои глаза всё не могли отделаться от их липких ножек, — поблескивавших на свету выделениями, — которыми они делали грузные прыжки.

К ушам, — как автофонограф, установленный у них дома (на случай, если когда-нибудь устанут квакать), — всё ещё приставали пиявки, приникающие волнами от их ритуального открытия входной двери. Из-за неконтролируемого повторения этих деталей, меня едва ли не выворачивало: лягушачьи ножки блестят влажностью на солнце, затажно сгибаясь и разгибаясь.

У меня на уме так и маячит одна навязчивая мысль: может всему причиной все эти входные двери и стены? Хотя вряд ли этот «печёный сорняк»/отрок вошёл бы в дом, даже если бы входная дверь отсутствовала... Типичная подрастающая мужская особь рутинезийца.

Но где же мои *девочки*? Эта мысль укрыла меня сквозящим прохладой, одеялом сна. Но хочу вас предупредить: то, что вижу во сне я, не имеет ничего общего с тем, что видите вы. *Мои* сны — это действительность и подлинность, которой я питаюсь и в которую, по мере надобности, выхожу. Мне снится то, что занимало мои мысли перед уходом в астрал реальности.

И вот, значит, снится мне:

«Свежесть ворвалась; хочется вскурить чайную розу, пропитанную ментолом. Мы сидим на заднем дворе у Марты, на корточках, а над нами звёздное небо, из которого как будто доносятся крики пролетающих чаек. А мы сидим, мечтаем, вдыхаем полные лёгкие свежести, ещё медленнее выдыхая, — словно смакуя реакцию организма на одурманивание свободы духа. Этот, изначально, сладковатый вкус, смешанный с запахом фруктовых ноток, уводит в воспоминания о детстве...»

Вокруг пустынная и непробудная ночь, но деревья и всё вокруг словно самоосвещает своими приютившимися светлячками свежую зелень недавно пробудившихся листочков почек. Вокруг ни травинки не шелохнётся: эти зелёные гвардейцы своих полей и блюстители тишины всегда вооружены остриём своей игольчатой пики, проникающей в упруго-эфирную, лавандово-масляную ночь. Кроны полуспящих, полубдящих деревьев — похожие на марабу, втянувшего голову в плечи — отсвечивают едва уловимым свечением цвета хаки, что своим плавным переходом подрезает ночь, нежасьуюся сном на их овлажнённых подушках. Пахнет убаюканной, волшебной изумрудной зеленью почек и ростков. Нам всё чудится, слышится, что где-то вдалеке блеют козы или мычат коровы. А мы словно дожидаемся какой-то вести; сидим в экзальтированном всеуслышании, сосчитывая наше сердцебиение — как индикатор всякого изменения.

Что же должно произойти и что будет дальше? — этого мы не знаем, — но присутствует внутренняя убеждённость, что это «что-то» неминуемо. Кроме нас, никого нет ни в домах, ни на улицах, — только прерывистое бляение животины, доносящееся с периферии окрестностей и желтые изогнутые усики улиточных фонарей, освещающие пустынные дороги.

Напряжённой пружиной привстаём с корточек, подсаживаясь вплотную друг к другу и тотчас ощущаем мягкую, обнимающую бризом, прохладу, которая словно безмолвно напоминает, что мы действительно одни и рассчитывать нам не на кого.

— Марта, слышишь, сверчки зацвирикали и запахло тиной?

— Сверчки, это да-а, они такие лапопусики! — покачиваясь на корточках, с улыбкой на губах, умиляется Марта.

— Марта, но я слышу... *бульканье*! Этот звук вроде *окружает*!.. — едва не подскакивая, но вновь приседая, вскрикиваю я нервным шёпотом.

— О, Боже!.. Кажется, я что-то слышу! Что это? *Что*, Фелинка?!

— Кажется, это как-то связано с нашей прогулкой!.. Помнишь, где поляна с козами и мёртвыми... Оно *пришло*! — с дрожью в голосе, но твёрдой убеждённостью заверяю я, обращаясь к ней лицом, с глазами, прожжёнными ясностью, и напряжённой кривой улыбкой.

— Только не надо, не пугай, ты же знаешь... тьфу-тьфу!.. (Через плечо.) Господи, избавь! Ты про кого говоришь? — ужасается она побелевшим лицом, трясая меня за плечи.

— Март, мы в тот день были... *посвящены*!

— Но...

В этот момент раздаётся неестественно зычный и жутко продолжительный звонок в калитку».

Я вскочил со своих перин; сглотнул; включил ночник, и, не поверите, у меня до того зашлась кружиться голова, что перед глазами завертелись мириады блёсточек. Не сон, не сон! — я знал, чувствовал какой-то подвох, скрытую опасность, которая медленно подбиралась к моим девочкам. От волнения, которое меня охватило, я весь был в дыму и наэлектризован давлением. Хочу также отметить произошедшие *во мне* изменения: появилась какая-то лёгкость, радость и жизнелюбие. Затем я вновь подскочил к своему объекту наблюдений. Если же они в черепке Рутинезии, то, стало быть, запах варева рутинезийцев должен был за это время как-то улучшиться, что ли? Но приблизившись, мне стало ясно, что те дохляки не изменят своему запаху, даже под таким прекрасным предлогом... Они живут в вонизмах, облагораживают их, персонифицируют, собирают в баночки и ставят в морозильник, — для них это подобно благоволиям миро. Они плодят детей именно в этих помоях, которые сами выделяют и которыми же питаются. Но стоит придерживаться толерантности: у них тоже, как и на других планетах, свои крысы в голове. Только вот *количество* этих ондатр извне, превышает *то* количество, которое способно вместится в их крысином мозгу. Не хватило им места в извилинах, вот они и материализовались оттуда во внешний мир, — к тому же изнутри «крысы» весь мусор оприходовали и там им делать нечего.

Я вновь перевожу взгляд на тот самый домик-сморчок, согбенный под слоем слизи. В нём все продолжают «входящие ритуалы». Разница лишь в том, что теперь каждый, отъевшись не остывающим «горячим» в своё удовольствие, разбрёлся по отведённым для себя каморкам, уже оттуда голоса свернувшемуся калачиком, сорняку, который по привычке бурчит себе под нос имена всех существующих и несуществующих родственников (последний этап проверки), чего те, конечно же, уже не слышат.

Что же способно раскачать облагороженную заунылость? Ну а что, допустим, у них есть, кроме пространства выеденного мозга, покрывшегося непробиваемой скорлупой? Пыреи, мокрицы, ежовники, подмаренники, осоты, — это сорняки! — их нужно вырвать с корнем из той почвы, что их питает. Удобрение? Ну конечно же это сорняки-мутанты! — они издавна приспособились к рациону и мутировали под него. Внутри них — смола кровавого цвета, сиздавна затвердевшая и заключающая собой переброженную кофейную гущу. Один шорох, хрипенье, кашлянье, брюзжание листьев у тысячи разных голов, которые то и дело вгрызаются в землю. Чураясь неопределённо повисшего белого купола неба, они отрицают своё высшее предназначение, которое бы их оторвало с корнями от земли. Возросши ростом, им было бы удобнее начинать отдраивать и разукрашивать свой мшистый холст небосклона. А пока что «оторвало» только мебель и прочую дребедень, которая побольше возвысилась, чем они.

Один стержень вставных чернил одной касты; одна многоголосая fuga, составленная из различных тонов общего тембра. Пока в самой церкви родственники «по такое-то колено» — точнее, их духи, обряженные в платья — поют в церковном хоре, а-капелла рабов подпевают им на задворках церкви. Таков обряд, сакраментальный лейтмотив, — выводить на запятки вереницу повязанных. «Живые» рабы, видимо, надеются очиститься от врождённых оков, следуя изливаемым указаниям/поучениям тех *духов*, которые в свой черёд надеются очиститься благодаря раздаче эмпирии — внушением долга послушания/повиновения, — «а иначе будет так-то...». Иными словами, такая располагающая своей заботой, добродетель родственничков, есть не что иное — как *выгода*, в целях искупления *своих* грехов; надменное высокоумудрие. Они приспособились маскироваться под добродетели, — одначе сами сущие ханжи.

Сорняки, что вы можете дать, не имея прерогатив плодоносия? Опять круг замыкается... Сорняки-дикари... и попадись им более слабый и беззащитный родственник, они высосут из него все соки, всё будущее, оставив без возможности к плодоношению. Но почему же

«дикари» всё никак не окрыляются от этих соков? Отчего же испокон веков проходит ритуал жертвоприношений, но в их жизни не наблюдается никаких перемен? Ответ уже *был* дан: это замкнутый круг; *circulus vitiosus*.

Тореадора с красным полотном уже давно нет, но метапрограмма, – запоминание и автоматическое воспроизведение устаревшей установки, – на красный цвет (это только образный пример; всем давно известно, что быки – дальтоники) у всех современных быков сохраняется негативной от того общего предка, который и выработал эту программу. В нашем случае, чувство незащищенности и поиск одобрения действий, был выработан в современном поколении – «сильными сорняками»/предками, которые уже, будучи компостом, напевали им свою волюнку, насыщаясь соками «живых» – под маской заботы. Таковы традиции...

Изменится ли запрограммированность сорняков, если их пересадить из земли – в почву, удобренную церковным хором? Невольно, да, – как тот, кто всю жизнь ел мясо и по неясным побуждениям вдруг решил увлечься вегетарианством, хотя у самого на уме, при виде отваренной спаржи, или соевых котлет, это самое мясо в различных вариациях. Этот пост — *временное* воздержание, – т. е. сдерживание и накопление желания отъестся вдоволь. Ну а если сорную траву и подавно вырвать с корнями из земли? Тогда она просто зачахнет, но анемохоры пыльцы вновь и вновь будут разноситься анемофилией ветра, чтобы впитаться в землю и дать ростки, в конечном счете, вновь вписавшись в замкнутый круг. Такую траву, в принципе, без гербицидов, не вывести. Так что же делать? Полагаю, нужно поменять метапрограмму сорняка о его *бесполезности* и *ненужности*, а также излечить его от «*комплекса виновника*», о котором ему кричат из прошлого те, кто давно отжил своё, но чьи корни накрепко засели в почве, всё разрастаясь и овладевая большими площадями.

Уберите старые сети корней, цепляющиеся за новые, дабы, наконец, прорости свободными от установок! Им нужно показать их *смысл*, суть, надобность, полезность, изменив тем самым их структуру ДНК. Вереница цепей рабского подострастия, наконец, освободиться от невольничества, реликвии уважения и почитания церкви *прошлых* верований, и возьмёт собственные взгляды и суждения.

Промочите засохшую кровь молоком, и смойте её. Устаревшая церковь предастся анафеме современных модернистских мировоззрений и самоуничтожится. Осталось определить, – что же *поспособствует* срыванию оков? Открыть им завесу в моё царство, бесспорно, было бы самым действенным, но я не приверженец радикальных экстремистских мер, способных в одно и то же время породить и обратный *афффект*. Я более склоняюсь к последовательности и конструктивности действий, чтобы те успевали *усваивать* данные им уроки и подготавливаться к следующим...

О, как бы мне хотелось отблагодарить себя за правильное решение и отправиться к вам, на Тихую гавань безбрежного океана. Там бы я улёгся на гамак, растянувшись между проливами двух материков, и отвёл бы душу. Но никакого мне жалования, никакого отпуска, пока не расплачусь с долгами...

Стало так легко, словно через приоткрытое окно заструился голубой воздух небесной свежести, убажжающий мои нервы после длительных размышлений. В моём распоряжении константа бесконечности, а они щёлкают время как семечки, – и за это время успевают обменяться всякой ересью, которая-то и затрудняет мою работу — возвращение долгов; затрудняет, как, впрочем, и все другие их выходки, загрязняющие напиток.

Будучи от рождения обделённым багрянородной (голубой) кровью, передающейся по наследству, я являюсь самым бедным предпринимателем, и все по той же причине... Вот мне и приходится давать то по черепу, то в глаз, то в бровь этим негодникам: землетрясения, смерти, цунами, бури, наводнения, – и всё только с той целью, чтобы они перестали маяться дурью и заметили *мои* призывы к *вашей* милости. Они, наверное, свыклись с моими всплес-

ками рук и взрывами голосовых связок, наподобие: «Что вы, черти, творите?!». Для них это стало обыденностью, атмосферными возмущениями!..

А что вы скажете об их смене дня и ночи? Лично мои глаза и без того воспалённые, устают за всей этой фантазмагорией наблюдать, которую они сотворяют. А мои сны?! Вы знаете, что я вижу изо дня в день на протяжении пяти миллиардов лет? Их! Только их! Увольте. Причём во снах я их поедаю; меня то и дело рвёт от этих несочетаемых ингредиентов и послевкусия марганцовки. Но во сне, как в царстве мёртвых Аид, все повторяется и я вновь и вновь запикиваюсь ими; мне уже хочется переварить их, наконец, и выплюнуть в *другой* конец, но они так и не лезут. Навязчивая идея несварения; я даже пересмотрел весь свой рацион, но бесконечная мука терзает меня до сих пор: я исхудал, осунулся, а былая чёрная энергия замедлилась и охладилась, на смену которой объявилась долгожданная паранойя.

Мне постоянно кажется, что они рядом и наблюдают, изучают, записывают и зарисовывают своими чернильными пастами всё, чем я занимаюсь. Непослушные упрямыцы! Вы же доведёте наш клуб до банкротства! Небось, как недалёкие, они все в мечтах о захватывающих приключениях, – о, *так и будет!* если клуб заколотят: их отправят в лапы ассенизаторов, а я, как багрянородный маргинал, буду просить милости, но, слава Всевышнему, уже *не у них!*..

Позвольте же мне, по случаю, предопределить всю хронологическую последовательность и завершённость этой игры в «Дурака»: паразиты так и не возьмутся за разум, отказываясь принимать аксиому моего для себя/для нас, труда; продолжают обряжаться в броню от лучей глаз моего надзора, – вынужденного, по большому счёту... кстати, вы замечали, что на солнце долго не посмотришь, иначе можно отхватить зрительный ожог? Так вот, знайте, это глаз мой закипает злостью! Затем, в какой-то непредсказуемый момент, в мои «покой» (ставшие такими за период моей прохладительной бездеятельности) войдёт – о, покой всем мучениям! – зоил, в своей чёрной мантии, окружённый дымчатой глорией, и, дав пинок под зад, вышвырнет меня кубарем за дверь, скинув вослед все моё имущество/хлам. Потом всё пойдёт по своим орбитам.

Когда меня выкурят, чёрная мать Тереза, — мать всех мох начинаний и даже поставщик той материи, из которой был сотворён сам клуб со всеми предметами мебели и интерьера, одним словом — моя вездесущая жёнушка, – прознает о моем положении первой, по той простой причине, что именно *она* даст на это согласие. В таком случае это будет означать только то, что она меня бросает, по причине лишения достоинства. Так как её известной и единственной страстью, фетишом – отчего ко мне и приварилась – была моя всемогущая энергия, разжигающая и заставляющая кипеть, бурлить и взрываться её недра, впоследствии чего зарождаются новые планеты – наши общие дети, *можете* себе представить, вообразить весь титанический масштаб той катастрофы, которая незамедлительно последует, если я без остатка потеряю свою энергию и силу, превратившись в заиндевевшего от мороза, инфертильного дохляка? Жёнушка вырвет свою мягкую перину из-под моего немощного тела и единственное, что выделит для отца своих планет – во всеобщем *Космодоходном* доме – это отдельный (надвое миниатюрнее нынешнего) войдный *гроб*.

Как бы странно это ни прозвучало, но жена моя — однолюбка, способная рождать планеты только от главного источника энергии – то есть от меня. Поэтому, когда я сгину, она, не найдя себе иного партнёра для зачатия здоровеньких планет, либо будет воспроизводить мутантов с дурной наследственностью — наподобие гомункулов, – либо покончит с собой, взорвав тем самым все на́бело. Либо же дождётся необратимого процесса: без обогрева теплом энергии (а часть меня за окном), всё сущее само собой замёрзнет, – и это с тем учётом, что без меня эта наседка способна высидывать яйца планет только в холодильном инкубаторе.

И вот, возлежит готовенький палимпсест новой книги начала, искрящийся пастозой ледяного молчаливого бархана. Хрустальная ваза пуста и натрусить из неё можно лишь архаическую насыпь утраченного, – потерянных надежд, страстей и грёз. Космические сферулы/кос-

мическая пыль потерянных, не рождённых планет. Откуда возникнуть воде или цветам, если есть лишь одна пустая ваза и пыль? Всё, что останется вообразить фантазии – это какой-то атомный *бздик*, – но его нужно будет вообразить всем вместе, дружно, и, может быть, из этого что-нибудь получится.

Бездонная хрустально-голубая ваза взорвётся на мириады осколочков, и соберётся вновь, формируясь в мозаичную хрустальную черепаху. Закон притяжения... Но нужно подумать об этом всем вместе, накануне исхода, и, возможно, она ещё и поплывёт. *Лучше* своё начало предложит только конец, – все вместе, дружно!.. Новый мир прибудет из старого...

Пускай, как из ларца с сокровищами, из черепахи будут выходить крошечные песчинки яйцеклеток, поблескивающие золотым блеском, щекочущим нос своим стремительным и резким запахом готовности. Пройдут миллиарды миллиардов лет, прежде чем эти песчинки обрестут перламутром, сделавшись жемчужинами. Они высыплются из неё россыпью украшений, которые она скрепила, изначально нанизав на нить. Премудрая черепаха обучит их апокрифным знаниям, которые предвидела и успела перенести в нынешнее – из Большого взрыва, – в пролив между двух океанов. Она единственная выжившая, не давшая себя растворить закостенелому Космосу, благодаря чему за ней был закреплён титул «Премудрой». Её мудрость заключается в том, что она не подвластна устоям *внешнего* мира, потому как под панцирем, с момента зарождения Вселенной (опять-таки, предвидя её концовку), она вынашивала то, кому должна будет открыть *свой* мир. Она рассекала глубины, точно всюдусущая исследовательская подводная лодка; она много наблюдала. Фактически её детёныши/жемчужины зародились благодаря проведённому ей анализу материи и энергии; вбиранию недоработок предыдущего *недо-абсолюта*.

На старом палимпсесте с иссохшими рельефными прожилками прошлой материи и энергии, она выводила тушью безупречное количество пиктографических рисунков.

Покуда она невидимо, медленно и бесшумно двигалась сквозь всё зримое пространство, моя энергия не иссякала ни на миг.

А теперь я нахожусь в той самой гиблой ячейке, – в которую моя жена заблаговременно меня припрятала, – в немалой надежде на восстановление моих былых сил. В клубе! Уместно добавить, что ухудшение своего состояния я ощутил *задолго* до ссылки сюда. Тереза почему-то полагала, что забросив меня в эту дыру и дав мне возможность раскрыть свой потенциал в предпринимательстве (черепки — это как раз и есть следствие моего потенциала), я вновь воспряну, как после оздоровления в санатории «Пять звёзд»... Но это, как вы теперь поняли, только спровоцировало пароксические осложнения; а забытую свободу и лёгкость, как временный паллиатив, я почувствовал только при въезде в войд... Теперь же я на распутье и понимаю, что ни жены не потяну по её габаритам и габаритам её *запросов*, ни того, что за этот реабилитационный затворнический период успел сотворить/натворить. Ответственность всё ту же сдавливают мои плечи тисками, а поддержки и помощи только жди-свищи.

Может быть, я слишком переусердствую с *ювелирным* подходом к паразитам, которые, пользуясь этим, уже зароились в моей голове? Так и бывает: посвящаешь свою жизнь одному делу, и, за неимением другой жизненной опоры, оно же предательски направляет тебя в сторону Квазара. Сейчас тот остаток энергии, который сосредоточился распалённым сгустком в каверне желудка, потихоньку угасает, неустанно раздувая мои внешние объёмы вроде медузного отёка. Может один и тот же кошмар с гомункулами, – которые, не иначе, существуют только в моём замурованном мозгу и с чем желудок справляться бессилён, – мне снится потому, что я, чем переварить *их*, скорее либо переварю сам себя, либо лопну от недоедания. Это свыше моих сил, лишить жизни своё творение, – то есть лишить смысла свою, и до того «без-цельную» жизнь, заодно порешив и мечты с надеждами.

А, вот и мой друг зоил! Почто ты вторгаешься в мою неприкосновенность? Топчешь грязными ногами мои раздутые телёса? Твоя главная задача — отдавать моей жене сведения о моем состоянии. Ты только *прикидываешься* другом, – вроде врача-психиатра. Подавись моими напитками и оставь меня! Да, я заметил твой сегодняшний фосфен: лёгок на помине как летящий метеорит, разменивающийся луннопроходочной сарабандой горящих носков ног. Откуда бы взяться твоему воодушевлению, когда моего спокойствия и свет погас, – оно кануло на дно, серебристой чайкой, реющей промеж вулканических хребтов, политых лавинным соусом «спайси». Тебе не стоит докладывать моей жене, что я растолстел, потому как она решит, что это произошло от восстановления энергии. И прежде чем я успею разорвать порочный круг, утопившись пресыщенностью и смирением, она высосет меня из ванной моего клуба, выдернув затычку из входа; всосёт обратно, в мои же потроха и в свои сточные воды.

Знал бы кто, какой пылает клубок нервов в сердце моего желудка, состоящий из многообразия переплетённых паучьих нитей, которые оплели весь мой клуб ожиданиями. В частности, эти электрические нитеподобные провода подсоединены к *черепкам*, которые низкочастотными импульсами, словно по струнам, скручивающим мою внутреннюю пустоту, поставляют мне энергию. Этот источник продуцирует между нами при помощи детектора лжи, подключённого к черепкам – с их заклинающими ответами/исповедями. Если же детектор распознаёт ложь — что зачастую — то с удовольствием рубает именно *творца* этих врунов – т. е. меня, – того, кто сотворил их в приступе *горячки*, под импульсами выхлопов задыхающихся газов безвыходности. Разве мог я сотворить что-нибудь *цельное*, вопреки своей *безцельности*, которая определяется моей несостоятельностью в семейном, деловом и социальном плане? Что же это выходит: я надеялся позаимствовать энергию у тех, кто, в свою очередь, и *сам* подключён к моим трубкам-капельницам?..

Клац, трям, брям и затем глиссандо смычком по всем наболевшим струнам; тремоло щекотки вздымается бурлящим потоком вверх от пуза. Пузо! Так вот оно что – ха-ха, – причинной всему *ты!* От *тебя*-то и исходят источники моих страданий! Скажи мне, чего расстраиваешь мои струны-капельницы своими трихинеллёзами, энтеробиозами, аскаридозами, запорами и скарабиазами? Ты генерируешь метеориты метеоризмов, провоцируя мой истерический хохот – щекотанием порожних субтильных кишок; накачиваешь газами засохшую кровь тех агнцев/сорняков, которые, изначально, дети, и алчут молока, чтобы отмыть кровь! В таком случае, лучше пощекочи мне *желудок*, авось, наконец, расслабится и пропустит этих несвареннейшей.

Метеоризм – это газ; хохот – пневматическое сокращение щекотливой энергии и саливация космо-сферул. В таком случае, если поднатужиться и закидать мирных жителей смехом и метеоритами, возможно и раздуется моя истерическая энергия в конвульсивном шоке. И *мне* помощь и для *них* это встряска и новые впечатления, – бартер. Хорошо всем, ведь для них смех – это непозволительная радость, роскошь.

А в случае с метеоритами: настанет день их избавления от обыденности, которого они ждали, сами того не ведая; устав от автоматических повторений рук и ног, поднимающихся на нитях. Одно дело, если бы это произошло под дождливый плач, скатывающийся со сточных черепиц грязных крыш, с которых валятся наземь мокрые крысы... Тут уж им и так все ясно, – это норма. А истерический смех облицовывает реальность, вроде закулисного шабаша ведьм, открывающего за кустами крапивы – вертеп предателей, паяцев, лжецов, ханжей, агрессоров и прочей нечисти, пребывающей, в комплексе, в каждом.

Они срывают свои маски, выдавая мир реальности: сумасшествие беззубого старика, вглядывающегося в просвет зоркими безумно-плутовскими глазами, промеж взбушевавшейся апокалипсической бури неба. Его хитрые, застывшие в довольном прищуре, лисьи глаза и улыбка до ушей, зятая щипцами на макушке, срывает блеющий смех, пока набалдашник

головешки заходится буйно вертеться вокруг своей оси, набирая скорость в темп смеху. Вот это и есть состояние моего «туза», которое охватило кишечник по избавлению от бздыков.

Натяну поводья, взявши четверню струн в две руки (их у меня на бесконечность больше). Просто смех и радость, конская улыбка, взъерошенный кверху, мигающий собачий хвост, рапортующий о благорасположении. Теперь понятно, почему ведьм от падения спасает смех: он окрыляет лучше кислорода, которым дышат обычные. Нужно смеяться громко, чтобы, закрывая на все уши, не выказывать недружелюбия. Вы наверняка знаете, что такое невольно подпадать под маску театрального смеха, оставаясь визави с тем, кому что-то должен; с кем не желаешь говорить, а то и вовсе иметь никаких дел; кто имеет подоплёку пренебрежения, злорадства, заунылости и т. д. Но мой смех *очищен* от этого, он *ис-це-лен*. Мне полегчало и по этой причине я ржу как сумасшедший, удерживая поводья восьмью энергетическими центрами/струнами. Да, а *что* вы думали? Безумство и хаос и есть *подлинная* чистота!

А чтобы стать *обладателем* такого редкого, а может и вовсе вымершего смеха, только и нужно, что задействовать все оголённые органы чувств, разбросанные по точкам тела, и немедля приступать к иглоукалываниям! Либо же задержать воздух в кишечнике, покуда вас будет щекотать лживый ишачий смех привздёрнутых масок; по телу проступит куча эмоций, с которыми вам предстоит совладать, иначе маска исчезнет – а это карнавал!

Маски напудренных мартышек с заскорузлой щелью рта, растянутого надменной кокетливой ухмылкой; хрустящие придворные платья прохаживаются прямо подле вашего носа. Вам предстоит оставаться в тон, выглядеть интеллигентно; нос кверху, хвост трубой; войдите в тело и слейтесь с ним. Бонтон и политес приличия, покуда под задранными синичьими носами проворачиваются грязные дела: тебя обкрадывают, водят лезвиями подставных плюмажей по телу (которое ты обязался вернуть после боевого крещения); подножки ставят лакированные носочки туфель. Но ты держись, – приличия и регалии достоинства важней!

Если вы когда-нибудь попадали в клетку с хищниками, то не понаслышке знаете, на что вы играете. Тут принцип тот же; поэтому все зависит от вашего предпочтения: либо сохранять достоинство для смертного одра, либо оставаться спокойным, отслеживая резкие движения, жесты, выхлопы слов и высказываний. Но есть ещё запасной вариант: *отказаться* от напускной сдержанности достоинства (ох, как же вы пытаетесь надеть достоинством *тело*, которое от самих себя прячете за шелками и бархатами) и делать то, на что я вас направлю. Истерический смех – не им ли захлёбываются младенцы? – и есть эквивалент; залог успеха; торговая марка от производителя с ярлычком и моей заверительной подписью о прохождении курса по отлучению от сдержанности качеств (противоположных высшему качеству), изолирующих вас от меня.

Живите со смехом, друзья, – вас от него не отлучат, как от молока! Он прибудет вашим прочнейшим щитом и поборником от пандемониума визгливого похихикивания прищуренных хряков, выделанных из той юфти, в толстокожесть которой завёрнуты все вокруг, – таков модернистский стиль, «бренд». Интеллигентные свиньи, облачённые в смокинги, зашнурованные в платья, блио, навихрюченные жабо, отштукатуренные пудрой и нарумяненные дудником и шафраном; здесь же мериносовые белые агнцы, которых всё туже стягивает лассо, отчего те истерически блеют. За *что* они изгнаны современными трендами? За *то*, что у них есть собственная белая лоснящаяся шкурка с белыми клубящимися вьюнками? За *то*, что они вне системы ценностей, потому как им не́зачем одевать/напяливать маски, обтягивающие все тело в корсет? Потому ли, что их наружность *естественной* красоты и колечки извиваются, указуя на лучи моего солнца, как росточки, смиренно принимающие благодать свыше. А вот под той таксидермической «роскошью» золотых фибул, подвесок, ожерелий, шляп — лишь смердящий трупный яд.

Золотые зубы, седые косматые волосы, слепые глаза, пастозные, флуктуативно дребезжащие тела, испещрённые отметинами лезвий плюмажей; копытца втиснутые в туфли, кото-

рые своими каблуками-шпильками все глубже пробивают землю под ногами, тут же её трамбуя в стиле па хали-гали, с крутыми реверансами голов и зафиксированными зияющими взглядами исподлобья. Видимо, они намеренно опускают литосферный лифт в бездну; удерживают его тросы, как та лампа у жителей Рутинезии; как зуб, дребезжащий на нерве, скрипя и охая от страха перед выдёргиванием.

Они тверды и последовательны в своём детище, как щипцы для вырывания зубов, и готовы вырвать *землю* под ногами, только бы вставить новый золотой зуб, – участника конкурса пародии на ценности. Ежели бы только *один* зуб – так их полная *насть*! Местность за местностью; экспансии, войны; продолжение следует по стопам золотых зубов, которые, сбившись в один белый коренной зуб, всеми силами цепляются за дёсны самыми сильным корнями-агнцами. Однако зуб не воспалён, он абсолютно здоров!

«Дз-з-здж-ж, дзы-ыдж-ж-ж!» – сверчаще-гульное зудение бормашины. Она пытается пре-парировать кариес, который имеется только у самого стоматолога.

Дз-ы-ынь! – раздаётся заключительный от-звонок в калитку.

— *Что* это? – срывается взвизгнувший голосок Марты. — Я слышу, Боже мой, слышу, – бубнит она, принимаясь, как на иголках, муштровать молитву о спасении.

— В дом, скорее! – не в тон кричит Фелина. – Она подскакивает к калитке, задвигая обожжённым движением засов и миглом устремляясь вслед за Мартой, на крыльце дома схватив её за руку, уводящую за распахнутую дверь.

Их тонкие ножки трусятся от избытка адреналина, по которым распространяются пустые пузырьки страха, вот-вот солющиеся в закипающую кровь. Их попирает на словоблудство, которое затихает только в моменты ужасающе-продолжительного звонка в калитку, – тогда, в унисон, вместе с ним, звучит их сбивчивый и безнадёжный припадок смеха. Марта, словно на напряженных нервах, ногах, быстро проскакивает через зал, в спальню матери. Там горит свет; все прибрано и кровать застлана, но родителей нет (она их уже звала). Усиленным намагниченным толчком она переносится обратно к Фелине.

Стоя в свету окна, как кленовые листочки, сплочённые друг к дружке, они, внезапно, замечают какое-то глубинное бурчание с бурлением. Доходит до того, что половицы пола, посвистывая, занимаются ходить под давлением увеличивающегося закипания недр, которое пытается прорваться наружу торфяной магмой, уже покрывшей пол тонким слоем липкости цвета драконьей зелени. Из расселин между досками начинают источаться дурно — до невозможности — пахнущие миазмы тления. Девочки замечают, что гвозди уже не сдерживают хтоническое брожение почв и теперь их ноги, лишившись устойчивости, словно встали на доску для серфинга в беснующемся море. Однако, не вода там, увы, а нечто желеобразное и вязкое, которое раздувается как на дрожжах.

Фелина со всей прытью подмывает к окну прихожей, едва не падая на движущееся нечто. Выглянув в него, она замечает (прикрывши рот тихим ужасом), что весь двор покрыт расплывающимся слоем слизи светло-оливкового цвета. Над самой землёй нависает дымка испарений более тёмного и насыщенного зелёного цвета. На смену ночи пришли утренние «сумерки» цвета гнойных носовых выделений. Светло-горчичное небо осыпалось сонмом «душных» капелек тумана-конденсата и словно обвисло над землёй, – казалось, что оно бездонно. К окну подскочила встревоженная и едва ли не рыдающая Марта, чьи растрёпанные, ванильно-сахарные волосы, покрылись сладким сахарным сиропом паники.

Стоматолог сверху разразился гулким громовым смехом, – он успешно окончил полоскание ротовой полости антисептиками, обработал место укола и теперь осталось вколоть усып-

ляющую душу — анестезию — в корень зуба; и, расшатав его — вырвать *мудрость*, а заодно и *другие* положительные качества, пребывающие в нём.

Вдруг из ниоткуда возникла иглообразная сухая старуха, — острая во всех смыслах *настолько*, что режет глаз. Одета в лохмотья из грязных тряпок; вспышка растрёпанных грязных волос больше похожа на скомканный шар, одетый на острие головы — вроде колпачка. Палка из гледичии трёхколючковой, на которую она опиралась, казалось, встremлялась глyбоко в землю своим концом. Пока старуха с упорством давила на палку, сцепив завидными точёными когтями набалдашник ручки, в то же время высматривая что-то или кого-то резкими ястребиными рывками головы и глазами, следующими вдогонку, даже я, право, испугался, взглянув в её — трудно сказать — лицо, в котором словно взорвали мину. Всё, что от него осталось — это глубокая вмятина; в темноте впадин глазниц — красные горящие угольки; обугленный крюк носа был похож на сук, выпирающий из западни; из пащи — смрад артикаина.

— Нам нужно бежать! — заголосила Марта. Она бегло подобрала руку Фелины и потащила за собой в зал.

Девочки пробежали татями — на носочках, подобрав животы и заметно ссутулив верхнюю часть туловища, словно предостерегая распознавание их движений за окном. Марта то и дело подскакивала к Фелине, наступая на её пятки и придерживаясь за её плечи, которая, в свой черёд, шла чуть выправленной и решительней. Они подбежали к окну зала. Тем временем тело иглы старухи приближалось своим положением параллельно к земле; её движение не прекращалось за счёт выгнутых в 90 градусов, носков когтистых лап. Всохлившись, как зимующая ворона, её скорость махания носа в землю возрастала, вдаваясь пушкой головы в плечи. Теперь её чёрные глазницы засверкали красноватыми венцами свечения.

— Ну же, — с чувством взрыкнула Марта, подталкивая Фелину через окно. — Быстрее! — торопила она. — Мы можем выбежать через сад, там чёрный ход!..

На улице небо встретилось цветом разбавленного, едко-горчичного порошка. Внезапно, за спинами девочек, — отчего Марта тотчас обернулась, — рубильники защёлкали светом во всех комнатах.

— Да скорее же!.. — взволнованно-сердито закричала Фелина, хватая Марту за руку и мимолётом заглядывая в окно.

Пробежав через сад к заднему дворику, Марта в слезах прислонилась к Фелине, обвив её руками; у обеих, по шее и плечам, полились перламутровые капельки росы.

— А как же я оставлю *дом*? — с вопрошающим взглядом глаз, припухших от слёз, взывала Марта к Фелине. — А как же... *родители*? — кинула она, со вдохом всхлипнув и вновь припав на плечи подруги.

В это же время, будучи обёрнутой в сторону окна, Фелина замечает, как слизь перетягивается и свешивается редким гребешком через оконный отлив. Не медля, она выталкивает Марту за дверь...

Ощувив, сквозь сон, дикую зубную боль (и это с тем учётом, что зубов в принципе не имею, но приходится выражаться аллегорически, чтобы вы смогли меня понять), я, в жарае, просыпаюсь. Раз уж речь зашла о правде, хочу добавить: я абсолютно бесплотен — но не от рождения, — это *сейчас* я зрительно пропадаю и почти не ощущаюсь их сплошной материей (о материальном). Но, коль находятся в черепках жители, верующие в меня и взывающие ко мне за помощью, мой разум принимает сей аллегорический сигнал.

Я одухотворённая телесная оболочка, поэтому прозрачен как душа, в отличие от вашей мёртвой кожи змеи, которая в адамовы веки вас искусила и питается вами донныне — как своими плодами. Страшно представить, что *произойдёт*, если все гомункулы станут, наконец, моими приемниками и единомышленниками: верно, вновь восстанет реминисценция бескрайних и далёких мгновений моего зарождения; та пора, когда я ещё был облачён в плоть.

Вопрос в том, как вам добиться мира. Может, нужно попробовать создать её *новую* модель; общую систему для всех жителей и территорий: каменных, горчичных, фиалковых, нейтральных, аспидных, хмурых, лимонных, болотных; белых, чёрных, красных и жёлтых. И никаких экспансий, революций и митингов, – но, с условием, чтобы любая нововведённая система неизменно опиралась на ещё одну «опору», духовную сторону жителей планет — на меня. Помогите мне, протяните мне ваши руки; покажите ладони, копыта, хвосты, уши, глаза и органы оставшихся чувств, – которые, перепутав, вы искоренили вместо *устаревшей модели мира*. Заинтересованных, безгрешных и цельных душой и телом, я всегда увижу. С этой чудо-системой все будут насыщены моей *космоманной*; никто не останется обделённым.

Барханцев пшеничных – видимо-невидимо; дюновиков в меду, запечённых под лучами солнца — океаны, — идеальная пища для отлёта в медитацию! Ну а пока там бродят горбатые и мохнатые спины *непокорных* завету моему: точно немощные камни, бредущие связанным караваном и уповающие на сахарные благовония 1001 ночи, – да ниспустятся на этих верблюдов благословенные пучины нардовых снов!

— Скажите Зоил, вы меня *слышите*?! Ну, конечно же, *слышите*! даже порой позволяете мне делать лапидарные заметки. Тогда скажите мне вот что: если у вас такой 100% слух, почему вы никак не можете понять, что тут дело не только во *мне* (о клубе), но и в тех, на кого у вас не хватает ещё одной доли процента слуха. Хотя, может, только *я* оглох; может, я слышу писк в своём балдже головы, которая, вращаясь вокруг оси, создаёт такую гомофонную акустику?.. Могу положить, что *я изначально* переусердствовал с восприятием и распознаванием звука из своих напитков, и уже затем — как следствие – моя голова закружилась и потеряла слух, – однако донныне сохраняет криптомнезию многоголосья. А... а может это гиперпиретическая лихорадка?! Или на фоне неврастения и ипохондрии – цецебрастенический синдром? Ответьте мне, право, – вы *слышите* звуки в сердцевине звёзд затухающего рассудка? Остаётся надеяться на то, что вы чтец мыслеформ, иначе *как* вам довести, что *я в своём уме*? Судя по тому, как вы меня счисляете своими затухшими угольками глаз, запавшими глубоко в вашу алгорифмически-оценочную модальность мозга, вы, стало быть, и не намереваетесь ничего услышать, и все мои слова с пояснениями – в пустоту, – т. е. в ту, в лоне которой я так хорошо обжился и без вашего присутствия!.. В таком случае вы обычный штрейкбрехер и шпион! Вашей дружбы мне и задарма не нужно! Вы думали, я не заметил, что ещё задолго до того, как ваше единоличное эго начинает продираться ко мне – точно через леса Амазонки, – писк в моей голове возобновляется? Когда вы вторгаетесь сюда без предупреждения, этот охриплый писк сливается в единый гомон, и, можно решить, он обращён именно к вам! Вы же выставляете *меня* в дурном свете, притворствуя, будто «они» – это пустой звук *моего* больного *воображения*. К слову, добавлю: вам, видимо, даже *выгодно* выставлять меня за полоумного, ведь вы же, дорогой зоил Жён-Премьер – её любовник, не так ли?! *Я сразу* это отследил по вашему уютному распространению по площади моего автономного заведения. Моё напряжение, при вашем присутствии, совместно с той *надвижной* субдукцией ваших «плит», перекрывающих пространство – некогда бывшее мной, – с одной стороны – разочаровывает мою мужскую энергию и силу, однако, уже с другой — удивляет вашей сметливостью и последовательностью модулированных, сменяющихся аффектаций. Вы говорите мне: «Мы есть то, что сотворяем»... Допустим... Тогда отчего же, ваше святейшество, вы даже не удосуживаетесь расслышать тех моллюсков-гомункулов, кричащих вам вон из тех черепков? Причина тому довольно *ясна*: вы намеренно притворяетесь, что сами ни шишá не слышите, добиваясь закрепления за *мной* умалишённого! Вы умеете только разрушить, вобрать и адсорбировать; именно вы, я убеждён, потягивали с завидной обсмаковывающей неспешностью мою мужскую энергию! Хотите *обосноваться* здесь, мой продуманный? Испитья напитков, которые я для вашего привередливого пищеварения готовлю, чтобы вы тем временем разносили профанации обо мне – как о невменяемом? Аида с два! Жители моих черепков воздушно-космическими, морскими, сухопут-

ными войсками аболиционистов восстанут против вашего эгоистичного ига; уж я их подготовлю! А если даже случится, что *я сдам* обороты, то они отстоят мою честь, так и знайте! Вы сделаете всего один глоток и заворот поглощающего чёрного ядра вам обеспечен. А потом я хрипло-слабым, но улыбочивым голосом скажу в вашу пустоту: «От чего заболели, зоил, тем и лечитесь!»! Если уж погибать, то только с вами, дражайший зоил!

Ну а пока что в Рутинезии временный абетинг. Флюгеры, ранее всегда покачивающиеся, теперь, без моего надзора, притихли. Улитки задумались, вздвывая к небу сомнамбулические глазки, – их повыползал целый сонм. Я думаю: только оставляю их без присмотра ветряного направления, как они миглом теряются аменцией, – вылуплено помигивают кулачками носоглазков в небо, – и не знают, что и делать. Все будто опускаются в какую-то пограничную настояженность/помутненность, – вроде дневного сна без моего присутствия. А может быть, это, на самом деле, врождённая *восприимчивость* к моему присутствию? – тогда не совсем верно то, что они совершенно ко мне не приспособлены и не имеют никакой связи... Хотя, теперь, деменция налицо: все застыли в своих дворах и замшелой замедленностью моргают, воткнув глаза в небо. Вроде они наполняются бесконечностью, с той лишь разницей, что при моем непосредственном приближении к ним, в их глазах блестит лезвие серпа луны, в котором проносится вся их зелёная муть.

Моя бесконечность словно *пугает* их законченность. Ничего... всё, вскоре, вернётся на орбиты своя: я передам им в наследство платоническую бесконечность — всё, чем теперь владею, а также поверю ключи от дома. А пока что мы в одной упряжке, просто мчим в разных направлениях, но, все же, скрестив руки Лемнискойтой Бернулли, – это когда поводья струн, за долгое время, срослись с моими руками.

Экипаж мчится, рассекая деревья на пробор; впереди – обрыв; возница перед самым слётом, натягивает на себя поводья, вильнув усом; ноги лошадей натягиваются с напряжённостью стрелы, врезаюсь в землю. Экипаж проносится, на скорости, вперёд, угождая в раннеутреннюю ненасытную пащу пропасти. Кто бы мог подумать, что лошади выдержат этот груз. Вкоренились по туловищу в землю; глаза повыдавливали.

У лошади есть конская *скорость* и конская *сила*, — помните, опор должно быть несколько; должно быть равновесие всех сторон. Можно ли бесконечно удерживать тех, кого большинство и чей груз перевесит даже конскую силу духа (если исходить из расчёта *их* устройства мира)? Скорее всего, лошади эволюционируют в вам подобных и поочерёдно вылазят из упряжки.

Но давайте, всё же, уделим немного внимания *спокойствию*: откуда оно может возникнуть в экипаже, который вот-вот рухнет вниз? Как возможно такое, что чем дальше я отхожу, тем заглушеннее становятся их вопли? – ведь обычно в мои уши доносится писк. Кажется, я догадываюсь: сильный страх искривляет их энергетику... Спокойствие как у мёртвых: то ли они *падают*, то ли *уже* упали. Или, что маловероятно, экипаж, падая, зацепился за какой-то выпирающий корень дерева и сейчас уповаает на одного бога, – бога езды! Они надеются, что гуманность этого бога услышит и прибежит к ним на помощь. О, дайте мне подробное описание этого бога, чтобы его нагнать! У него были копыта и шелковисто-бархатный изгиб шерсти? Судя по всему, он пронёсся на всём скаку, по всем континентам и биомам, маскируясь то под вас подобных, то под верблюда, то под улитку, то под рогатого, то под многорукого ирода, то под, то над, то здесь, то там... полнейший зооморфизм. Его видели в виде Сет с головой окапи, в виде Вигхна с головой слона, Павора, Куа-фу...

«*В виде*» – да, а «*без вида*» – тут уж увольте...

Его бег так быстр, что он, обежав всю планету, успеваает догнать марево своего хвоста!..

Бог для них — это нечто существующее, но никем не виданное и дабы придать этому невиданному существу, – который скрывается под вашими волосами на вспотевшем теле в момент испуга или страха, – явственность, они стремятся его оформить в рамках видимо-

сти и осязаемости; вклинивают его в иконы – в качестве неопровержимого доказательства его существования. Но при этом никто из них наверняка не может сказать, кем, когда и где была написана библия, – не абсурдно ли это?

Если же говорить обо мне, как о Боге — а я в себе уверен, – то мне абсолютно всё равно, что вы там калякаете; у меня нет ни времени, ни желания в этом разбираться, – *можете* себе вообразить, сколько у меня таких песчинок, вроде вас? Голова кругом идёт. Вы в поисках этого существа на протяжении не одной эры, – с самого основания моего клуба, – но следование по его следам все никуда не приводит – а только заводит, потому что он начал свой бег с момента зарождения планеты — маленькой песчинки – и намотал, начиная от ядра, ещё три геосферные оболочки. Его следы, расчертившие планету вдоль и поперёк, собьют с толка даже самого опытного следопыта. Однако, за учинённое им ранее, тяжкое преступление (вспомните эпизод с лошадьми), его дух навечно будет повязан с оной планетой. Для тех, кому больше не во что верить, – точно эхо из прошлого, когда лошади бросили экипаж, который только на них и мог надеяться, – он остался идеалом поклонения — таинственным и непостижимым. Ну как же было не создать для его благосклонности загоны монастырей, церквей, храмов, – надежду, что на них всё-таки ниспущится его гуманность, пацифизм, на которую все они рассчитывали, уже будучи мёртвыми (после завершения истории падения экипажа и последовавших затем, глав жизни/смерти), – точно отголосок несовершенной надежды. Все это игра в кошки — мышки.

Возможно, они забыли, а, может, на тот момент даже не догадывались, что и их планета – по которой гонял их гомункулобог, – тоже была кем-то создана; созданы и другие такие, – целые *глазуньи* галактик, искрящиеся зажаристой пылью диффузной среды!.. Вряд ли, если же он действительно всемогущ на такие масштабные работы в зодчестве страны Вселенная, вряд ли он мог избрать себе место на тех крохах-черепках, которые для него, судя по его «могуществу», были бы не крупнее пыли и которые изначально были занесены в клуб с интенцией увеселения.

Лишь *одно* моё неумеренное дуновение может содрать одежду с вашей планеты, переодев в новый век, эпоху, эру... А являясь по натуре приверженцем парафилии и эксгибиционизма, пуговицы этой одежды будут расстёгнуты не спеша; спящие вулканы заплодируют, ветры, гудя, пронесутся на первый ряд, бронированный элитарным обществом масок; и непременно наекуют океаны. В столицу всех правил станут сплываться, вихриться, струиться и пробиваться все судьи природных биомов, готовые, за долгое время обета молчания и тщательного зондажа, вынести *свои* оценки происходившему с момента зарождения планеты. Возможность посещения представится многим, – а иначе для кого я это всё организовывал и составлял развлекательные номера? Но критерием отбора послужит *вера и правда*, которой вы мне служили. *Желанными* гостями станут те, кто устоял перед «обрядовыми» махинациями жителей, из последних сил терпя боль и унижения. Природа – *она* же ваша мать? – чистая и невинная, а не те отбросы, которыми вы её снабжали и которыми, скорее, и сами являетесь.

В *интродукции* будет вершиться суд; *между актами* — сентенциозная интерлюдия; а в *довершение* — каденциозная экзекуция, и, – «Та-да-да-Да-а-ам!». Таков девиз: «Мой лог — пролог, эпитафия, эпилог, – а между ними перешёптывания, суматоха и... истребление блох».

Зрители будут принимать непосредственное участие в различных конкурсах, гуляньях, церемониях, торжественных ритуалах, награждениях и зрелищах. Фитилёк вулканической бомбы решительно вздёрнут. Задания будут подбираться непосредственно для каждого участника, по его способностям.

Акт первый: всплеск свободы фейерверка смерти; текущие лавы фьордов и картинное представление подлинных ценителей искусства, – как же обвораживает лицезреть проварку негодных компонентов черепка! Все бурчит, переваривается, дезинфицируется; испорченное аннигилируется в съестное. Теперь, довольные и облюбленные зрители просят на сцену, гро-

мом оваций – бури, ураганы, смерчи, цунами, тайфуны, – дабы остудить и сдуть остатки костей – творчества планеты, – которое мне самому ещё предстоит узреть (однако это не будет иметь никакого отношения к «*подлинному*» творчеству).

Наступит и заключительная часть: джакузи гидротермальных источников предоставят услуги бальнеотерапии; обмоют огненную землю под контрастным душем минеральных вод, чтобы залечить рубцы, трещины и синяки, которыми её награждали гомункулы за покорное служение.

Творчество многогранно и непосредственно; теперь чаще радуют пассажи вдохновительной силы, – как спящие вулканы страсти; как абет перед бурей безумия, срывающий ещё не возделанные крыши; как движение литосферных плит; как изменения и новостройки земных рельефов, и как вся геофизика в целом! Вы только представьте, что за концерт разразится в моём животе, который будет щекотать мелодичными взрывами струнных арпеджо! Они разнесут метеоритами/метеоризмами весь мой клуб в щепки! Разнесут танцплощадку, на которой, под взрывы своих мелодий, я буду катиться со смеху, вспрыгивая антраша ножниц ног и разрезая пустоту своего войда стремительными скерцо чередований *внешнего* — происходящего в микроскопическом мире, и *внутреннего* – истерического ржания, – и так до *finita la commedia!*

И тогда из расселины срединной пустоты, точно между плотинами, запачканными фекалиями творений, взойдёт росток полотна из сколлапсированного корешка остаточного «рвания живота»; листики плотин отпадут трансформным разломом к его корням (компостом послужат выведенные из меня болезни). В те манускриптные криптограммы, выложенные из мельчайших элементов перегнивших клеток и атомов, – ранее бывших мутным веществом, некогда составлявшим черепки, – будут занесены мои суждения и подытоживающий вердикт обо всём увиденном. Как только из того, исчерпавшего своё назначение, манускрипта, будет вынесен – укрепившимися корнями цветка – весь компост, он свернётся в рулон туалетной бумаги и отправится в кругосветный тур по обновлённому назначению, мерцая клубными огнями. Все на орбиты своя...

Тогда я очишусь и зацвету. Почему бы мне прямо сейчас, в таком случае, не приступить к трапезе? Нет, нет, увольте, а что же тогда останется моему великочтимейшему чтецу зоилу? Разве что малоперспективная работёнка по его специальности: просев диффамаций, профанаций, пасквилей, газетных уток, – жалкое дело, которое он будет переносить как заразу, из одного заведения в другое.

Хочу заметить, что сотов пустоты – таких как у меня – мириады, и, будучи в команде «лузеров», лучше было бы называть моё заведение не *клубом*, а, скорее, *доходным домом*. И жители этого «дома» мало того, что не проплачивают прожиточный минимум, так ещё и с меня – голопятого – тянут на свои жизни, при этом ухищряясь крушить те стены, в которых проживают; засорять тот пол, на котором топчутся и который, будучи совместно потолком, вот-вот рухнет. Моей добросердечности и самопожертвования им недостаточно: они принялись как клещи, блохи и вши высасывать кровеносную энергию, сбывая свои нечистоты в мои истончающиеся жилы и этим же лишая самих себя сил.

Мой эскорт услуг сводится к ассенизации их нечистот, при сопутствующей зашлаковке космоорганизма.

Зато, превратись я в недалёком будущем в цветок, который способен из компоста нечистот вытягивать полезные для себя компоненты... Теперь то вы понимаете, откуда проистекает истерический смех?! Он составлен из партитуры радужных красок великодушия и щедрости, однако, при виде идеальной полноценности безупречно подобранных оттенков, кто же не захочет отхватить для себя одним движением грязной кисточки частицу нажитого счастья (мгновенного удовольствия), при этом поставив себя «выше» составителя.

Истинный творец/отдающий, не ищет выгоды и никогда не станет требовать ничего взамен, потому как у него есть неиссякаемый источник – сокровищница души, – сияние драгоценностей которой и является идеально подобранной партитурой красок. Единственное, чего он хочет — это чтобы жители, которые разграбляют его богатства, когда-нибудь сыграли все разом музыкальное произведение. Но почему же до сих пор надежды на общенародный фольклор не оправдались, а вместо этого, поверх каждого нотного цвета партитуры, корёженным почерком, выведенным чёрной сажой и пеплом, указываются инициалы лиц, участвовавших в разграблении?

Представьте себе: играет духовой мотив музыки; все благоухает и наполняется любовью; и вдруг, под мелодию медлительного анданте, некие лица начинают выкрикивать на протяжении остатка произведения, угловатую зычность своих тщеславных имён. Будет литься сточная классика жанра: «Я» и «Моё». Теперь понятно, откуда берут своё начало гомункуловы имена и почему так часто употребляются слова: «присваивать», «честить», «чтить» и «обещивать»; «быть верным своему имени» и «держат достоинство». Одним словом — откуда берётся тщеславие-падальщик. Прав сильнейший, овцы помалкивают.

Сильнейший — он же диктатор, оратор, предводитель, главарь, тенденциозный фанатик-параноик, укрывающийся от меня в кудрях белых волос неба, при этом вгрызаясь в кокон-землю. Точно преступник в бегах (сам же себя обрётший), в надежде сокрыться от ока моего правосудия, он разносит вирус фанатизма, укрываясь всем тем, что составляет его влияние, авторитет и «власть». Так он обрастает, — бултыхающаяся гусеница на шелковой нити, — коконом, который, увы, от паранойи не излечивает, а только её наращивает шелковой нитью бегства, совместно усугубляя всеобщее положение.

Для поддержания своей великовластности и великодушия, он чаще присваивает звания и титулы своим сторонникам и последователям, подкармливая своё и общее тщеславие – полным увязанием в иллюзии. А бедный музыкальный художник стоит и думает, что всё это происходит по его вине, ведь его музыка портит жителей; принимает всё на свой счёт – через музыку восприятия своего бессознательного «Я». В это время, жители перенимают его партитуру, аранжируя произведение – под властью *сильнейшего* – на своё эго и затем дают концерты.

Художник смотрит «из себя», а те, не имея этого «себя», играют *им*. Вот уже прорывается первый сдавленных вопль смеха: его просто «помотросили», дав понять, что он ничего хорошего не привнёс в мир, и мир и подавно в нем не нуждается; поставили ниже плитуса, поглумившись над его искренностью и откровенностью. Сундук с драгоценностями захлопнут и завернут в 1001 цепь.

Вы хотели узнать, куда девается добро, открытость, бескорыстность? Какие цепи равнодушия, чёрствости, апатии и даже безумия удерживают то, о чём испокон веков более не слышно? И где находится тот *мир*, который на протяжении всей жизни будет истязать себя вопросом, – «это ли мой мир»?..

У каждого свой ключ к какому-то сомнительному сундучку «открытий», однако, вас не смущает, что *все* сундуки мои, как и то, что миллионы миллионов лет их закрывает, точно плакучими водорослями – из тех высохших морей, где ранее бродили пиратские корабли. Собственно говоря, в сундуке этом хранятся все мои сокровища и несбывшиеся надежды; в сущности, я и есть этот сундук для сохранения и транспортировки тех драгоценностей, источником которых является творчество. Да посмотрите, ведь и сам мой клуб исполнен исключительнейшей фантазией невозможного!

Я так считал... покуда не услышал мелодии красок, которые играют переливами сияний серенад и витиеватыми взвихрениями. Меня, ещё до Большого взрыва – моего становления, обуяла идея вдохновительной силы: создать мини-амфитеатр живой картины/планеты; идея, которая издревле повлияла на моё коллапсирование в сингулярность, – ей была та самая мелодия «перехода» в большой Космос. Возможно, сотвори я театр, это бы поспособствовало моему

перерождению в рассвет *такого* Космоса, антропный принцип которого смог бы создать задел для воплощения моей *нынешней* мечты: гармоничного сочетания компонентов всего между всем.

И вот что я возымел!.. Верно, случился некий сбой в антропном принципе взаимодействия между жителями и окружающими их факторами... Не стану вдаваться в науку, но я и предположить тогда не мог о возможности такого катастрофического сбоя. В мои планы входили только цветы разных расцветок в морях полей; радушие радуг сияний, отражённых от цветастых лепестков; цветочные благоухания почв и мягкий климат. А вышла крайняя противоположность: старинная бутылка «Рутинезийского», которая мне передалась по наследству от почившей матушки, а той – от её и т. д.

Вот так родственники из внешнего мира пробиваются в моё сознание воспоминаниями своих прошлых лет, предшествовавших Большому взрыву Вдохновения. В душе родственников не существует, однако, эта «бутылочка по наследству», видимо, всё-таки вложила в меня интроспекцию, гласящую о пиетете к старшим, – точно так же, как брать с собой в дальний путь весь хлам, которым они тебя снабдили; и ты берёшь, – просто в знак благодарности и уважения. И хоть содержимым бутылки был свёрнутый рулон манускрипта с указаниями, напутствиями, предупреждениями, слезливыми платочками и т. д., я, будучи современником Вселенной, все равно бы не смог его прочесть, из-за незнания алфавита древних.

Покинул я свой отчий дом довольно неожиданно, настолько, что даже не успел моргнуть: меня, под давлением массы родственников, – давно сформировавшихся в некий однородный организм, – выпихнуло в чёрную щель в стене. А *вы* как думали? Именно так, впоследствии я был приобщён к духу творчества, – благодаря основанию сетевой мегакорпорации Супервселенной со своей супругой Терезой.

Нда-а... только вспомнить... тогда я был полон своей, возможно, эгоистичной индивидуальности, которая, всё же, помогала преобразовываться из симметрий себя – в творчество. Нна-а... а сколько лет мы с супругой возделывали новые вселенные, галактики; сколько звёзд взрывалось в сим тандеме... А *то!*.. От возбуждения зависит моё вдохновение, а значит и расширение, зарождение, и преобразование, – целая система, механизм, который теперь, не иначе, глохнет. Не хватает той искры вдохновения, которая бы поспособствовала переменам. О, где же теперь прячется *Цветолит* моего детства и генератор колоссальной энергии-вдохновения?

Не поверите, я до того застопорился в своих мыслях об этом, так напрягся, что готов был сей же час взорваться. Да какие же это черепки? – это цветные бокалы и из них брызжут сладкие пенные брызги Цветолита! Поющие бокалы! Кисти рук выводят по пенным туманностям очерк музыкального произведения Вселенной. Я дирижёр и всё подчинено моему импульсу мысли! Захотел творчества, стал дирижёром приходящей музыки идей, чтобы она слилась в гармоничную симфонию единства. И в моём *клубе*, — а не доходном доме! – будет играть только эта *симфония «Ясемь-ля»*, – потому как нечего нам размениваться по мелочам!

А вот и он... туманный брат Цветолит, которого мне, наконец, удалось вызвать! Играет мелодия пианино; звучит дребезжащая fuga хрустально-прозрачных бокалов. Нужно помнить об одном: потуги в творческой непосредственности, никогда не пробудят своим холодным веянием искру в сердце, которую можно раздуть только горячим дыханием... возбуждения! Огонь, пламя, пожар; внезапность, непосредственность, откровенность породят главный компонент — *страсть* (однако *платоническую*), натянутую струной через сердце, которая облачает огнями мою жену, заливающуюся многочисленными и пухлыми румянцами удовлетворения. Струна, в этом случае, должна быть крепко натянута и ни разу не расстроится, и не опуститься, – но этого, скорее всего, и не произойдет, потому что творчество имеет ко всему *своё* отношение, за которое держится цветными кистями и оглядывает со всех сторон как экспонат. Да здравствует!

Планета Разнудоблия

Итак, я станцевал крутооборотный локинг с Цветолитом и в моей голове бацнула пробка от той бутылки, ранее бывшей «Рутинезийским», которая теперь трансформировалась в бокал игристого веселья, набитого планетарной туманностью NGC 6751. Веселье заиграло ритм Оффенбаховским «Орфеем в аду», дробя мозги и нервы моего смеха. Ритм поднимался крещендо; энергия хлестала по воображаемым рёбрам. Цветолит, не унимаясь, сам развертелся волчком вокруг меня, а затем – вперёд и назад, раскачиваясь вроде разодетого фазана; он подпрыгивал на крутых разворотах, точно стреноженный козел, щекоча меня своими перьями взлохмаченного одеяния, которые всё норовили запудрить мой нос.

— Цветок, прекрати, – заголосил я. – Струны моей капельницы вот-вот лопнут! Подумай о тех малышах, с которыми ты меня неразлучно повязал!

Покуда на меня нашла тревога отцовской ответственности, я ухватился за поводья капельниц, возведя руки – горкой – вверх и натужно ими затрусил.

Мои капельницы, – думал я. — Когда-то ведь случится, что веселье канет и наша с ними связь после осуществления моего завета, должна будет прекратиться... Без «связующего» между нами, они растают, подобно весенней капели. Но что не свидимся вовек, зарекаться не стану, так как и капли – частицы моего «*всеобщего*» тела – всегда смогут выстроиться во что-нибудь *менее* принуждённое и *более* произвольное. Я уже предвижу ваше облегчение; словно заново оживший пагон планеты, в один прекрасный день вы отгаете банной жаровней лета; я услышу вашу писклявую полифонию – «а-а-ах», – как у светлячков, которые летают пчелиными стайками по ночному лесу, у прирусловых валов реки. И пока вы будете преобразаться в иную форму материи (по крайней мере, у ваших частиц *есть* чувство единства: они собираются вместе и живут неразлучно каждую новую жизнь, независимо от беспутств своего хозяина), выпрашивая вакантные места у моей жены, я буду преданно повязывать для каждого из вас реликтовые шерстяные, чешуйные, волосатые, рогатые, пернатые носочки и варежки, на случай, если она отошлёт вас куда подальше, и поближе к своему составителю — ко мне, – опасаясь распространению той болезни, которая, как она полагает, передалась вам от меня.

О чём *думает* эта женщина?..

Болезнь — это то, что мы в тандеме с ней сотворили и что теперь явственно работает против нас, – ведь мы стареем и теряем былой энтузиазм, выносливость и увлечённость деятельностью, в основе которой неизменно лежит воспроизведение потомства — расширения сети Космокорпорации. Причём смотреть на всё, как художнику на своё раннее творение, которое давным-давно выросло до размеров теперешней Вселенной и чего уже не изменить, довольно тяжело.

Меня частенько занимают мысли об абсолютном вакууме, – как ему там *живётся*? Иногда, когда нахлынет самоедство и разнуноенность, я восхищаюсь своими прожигателями черепков: как же всё-таки там много пустоты! Это, наверное, единственное место, которое знать не знает, что творится вокруг. Они там все словно в многоместной люльке под моим ночником; иногда капризничают, просыпаются и режут, пробуждая своего отца. А я им опять сосочку в рот и их глазки вновь закрываются. Нет, им и подавно не известно, *где* они спят, и *кто* качает люльку в комнате, в которой царствует морок крайней неопределённости. Главное, чтобы было удобно; тепло и соска. Порой так и тянет перебраться в их кукольный домик, под одурманивающей идеей, что «они там обо мне позаботятся». С преобладанием внешней пустоты/необеспеченности, находится место для прогулок пространства души; жить же насыщенностью будней, нагромождая плечи внутреннему «Я» – это мучение, самоистязание, доставляемое душе — той, кто хрупка как стекло, но тверда как алмаз в вечных поисках пристанища и покоя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.